This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

30 f

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

30

Krestovskaia, M.V.

М. В. Крестовская

КЪ СОЛНЦУ!

(Путевые наброски).

ТѢНИ.

(Изъ дневника).

Изданіе Д. П. Ефимова.
МОСКВА, Моховая, д. гр. Бенкендорфъ.
1905

А если солнца и тепла хватаетъ для нихъ, то, авось, хватитъ его и для васъ.

Но тутъ караулитъ уже другое зло, и васъ пугаютъ грознымъ призракомъ чахоточныхъ бациллъ, переполняющихъ тамъ будто бы всѣ стѣны и кровати.

— Лучшее средство заразиться чахоткой и отправиться черезъ какіе-нибудь шесть мѣсяцевъ уже въ послѣднее путешествіе!

— Да и потомъ,—прибавляетъ въ видѣ утѣшенія, вѣрный своему скептицизму, петербуржецъ,—тамъ теперь тоже морозы и раньше марта все равно не прекратятся.

Тогда, утративъ послѣднюю надежду „на мѣста не столь отдаленныя“, вы, съ рѣшимостью отчаянія, рѣшаете покориться своей участи и ѣхать на поиски за солнцемъ прямо въ Африку!

Остается сдѣлать только выборъ между Алжиромъ и Каиромъ. Но увы! хоть Петербургъ и считается „приморскимъ“ городомъ, но почему-то у его обитателей рѣшительно не образовывается „страсти къ морю“; можетъ быть, потому, что мы видимъ его въ довольно рѣдкихъ случаяхъ, когда ѣздимъ на стрѣлку, эту маленькую „форточку въ Европу“, съ спеціальною цѣлью увидѣть въ ней „кусочекъ“ такъ называемаго моря, или же когда оно само посѣщаетъ насъ во время осеннихъ своихъ наводненій. Но эти неожиданные визиты его внушаютъ не столько „страсть“ къ

нему, сколько почтительное желаніе держаться отъ него подальше. И мы совершенно основательно находимъ, что если ужъ довѣряться ему, то пріятнѣе на однѣ сутки, чѣмъ на трое, и отдаемъ поэтому предпочтеніе Алжиру предъ Каиромъ.

Правда, при мысли о священномъ Нилѣ и Египтѣ съ его пирамидами, сфинксами и Сахарою, является страшное искушеніе, и мы собираемся уже „рискнуть". Но по мѣрѣ того, какъ время идетъ и надо рѣшаться уже не въ мечтахъ, а въ дѣйствительности, мы начинаемъ опять склоняться въ пользу Алжира, открывая въ немъ все больше прелести и соблазна, и въ концѣ-концовъ рѣшительно выбираемъ его, утѣшая себя тѣмъ, что „Египетъ отъ насъ еще не уйдетъ!".

Теперь остается только выработать маршрутъ, за что мы немедленно и принимаемся. Но Боже васъ упаси совѣтоваться въ этихъ случаяхъ съ вашими друзьями и знакомыми. Нашъ отъѣздъ затянулся на добрыхъ три недѣли только потому, что мы „имѣли эту неосторожность", фатально приводившую каждый разъ къ тому, что новый совѣтчикъ рѣшительно возставалъ противъ всѣхъ совѣтовъ предыдущаго и, какъ дважды два четыре доказывая всю ихъ неосновательность, замѣнялъ ихъ собственными, совершенно противоположными.

И каждый разъ доводы были дѣйствительно

такъ основательны, что мы невольно подчинялись имъ и отмѣняли весь предыдущій маршрутъ, принимая съ благодарностью указанія послѣдняго, пока... пока не являлся слѣдующій, который, въ свою очередь, разбивалъ этотъ.

Такимъ образомъ мы попадали въ Алжиръ уже и чрезъ Парижъ, и чрезъ Лондонъ, и изъ Константинополя, и изъ Испаніи, пока, наконецъ, не догадались, въ свою очередь, отвергнуть всѣ планы и выбрать какой-нибудь свой, на которомъ стоять уже твердо, не слушая больше ничьихъ совѣтовъ и указаній, хотя бы они вели прямо чрезъ самый рай и вмѣсто платы предлагали бы даже преміи путешественникамъ.

И такъ, билеты взяты, и 9 декабря нашего стиля мы выѣхали „искать солнца", избравъ первымъ пунктомъ нашей остановки—Берлинъ.

Когда соберешься въ такіе дальніе края, такъ непохожіе на свои, то хочется уже скорѣй очутиться въ нихъ, въ этихъ странахъ, отъ которыхъ ждешь столько новаго, еще невиданнаго, почти чудеснаго. И первые часы въ вагонѣ кажутся особенно скучными и томительными. Привычныя, знакомыя мѣста только раздражаютъ нетерпѣніе. Они точно цѣпляются за васъ, не исчезая изъ глазъ, точно держатъ въ своемъ плѣну. Вы такъ давно приглядѣлись къ нимъ;

такъ знакомо въ нихъ все, и вы ничѣмъ уже не интересуетесь въ нихъ, не ожидая отъ нихъ больше ничего новаго, неожиданнаго, и невольно слегка скучаете, въ родѣ того, какъ скучаете иногда въ присутствіи близкаго человѣка, котораго знаете слишкомъ давно и хорошо, чтобы оживляться въ его обществѣ, но въ отсутствіи котораго, быть можетъ, будете скучать потомъ еще сильнѣе...

Скучно глядѣть даже въ окно вагона. Тянутся все тѣ же, съ дѣтства знакомые, спящіе лѣса изъ сосны и ольхи, изрѣдка перемѣшанныхъ съ елью и березой, совсѣмъ промерзшіе и застывшіе теперь, на сковавшемъ ихъ морозѣ. Они точно дремлятъ и грезятъ сквозь сонъ о веснѣ, о зеленой травѣ, что покроетъ ихъ почву, занесенную снѣгомъ теперь, о птицахъ, что прилетятъ къ нимъ и снова огласятъ ихъ тишину своими пѣснями, разсказывая имъ о дальнихъ чудныхъ странахъ, гдѣ солнце вѣчно ласкаетъ своей теплотою, гдѣ сіяетъ лазурное море и всегда цвѣтутъ радостные цвѣты...

И заслушается ихъ старый лѣсъ и тоже заговоритъ, зашумитъ своими верхушками, стараясь вытянуться еще выше и заглянуть чрезъ головы другъ друга, не увидитъ ли и онъ, навѣкъ пригвожденный здѣсь, хоть издали эти чудныя страны, о которыхъ разсказываютъ ему только птицы, и станетъ ему завидно и досадно, и напряжетъ онъ

всѣ свои силы, и тоже одѣнетъ деревья свои веселыми листьями, а по подножію своему выпуститъ блѣдные, чахлые цвѣточки подснѣжниковъ, которые проживутъ одинъ мигъ для его утѣшенія и исчезнутъ до новой весны.

Но, пока его засыпаетъ только снѣгъ; онъ тяжелыми пушистыми хлопьями окуталъ его заледенѣлыя вѣтви, склоняющіяся подъ тяжестью его, и, куда ни падаетъ взглядъ, вездѣ все тотъ же снѣгъ, все та же бѣлоснѣжная пелена его, полутораршиннымъ пологомъ покрывшая всю землю. Въ ея безупречной чистотѣ есть что-то дѣвственное и прекрасное. Сѣрое небо низко нависло надъ ней, облака ползутъ уныло и хмуро, точно и имъ даже скучно. Кругомъ ни звука, ни жилья, кромѣ изрѣдка мелькающихъ мимо маленькихъ домиковъ сторожей, занесенныхъ снѣгомъ. Пусто и холодно, точно все вымерзло и заледенѣло на много верстъ кругомъ... Подползаютъ сумерки и дѣлается еще скучнѣе. Тѣнь за тѣнью надвигаются онѣ со всѣхъ сторонъ, ложась слоями одна на другую и закутывая все своей темнотой и таинственностью. Все принимаетъ какой-то странный и таинственный видъ. Лѣсъ еще больше закосматился и насупился, точно пряча въ себѣ какія-то тайны, въ которыя не должны проникать враги его—люди... И вдругъ вспоминается дѣтство, съ его забытыми уже сказками и няниными разсказами, и глаза невольно ищутъ за этими

мохнатыми деревьями и притаившимися кустарниками, принявшими причудливыя формы и очертанія, чудесныхъ медвѣдей, оборотней волковъ, косматыхъ лѣшихъ и разныхъ сказочныхъ видѣній и образовъ, которыми населила его фантазія народа и дѣтей.

И, точно довершая настроеніе, въ воздухѣ начинаютъ мелькать золотыя искры, вылетающія изъ нашего паровоза. Сначала рѣдкія и отдѣльныя, онѣ весело сверкаютъ въ темнотѣ яркими точками, но постепенно все усиливаются, умножаются и сливаются уже въ одну длинную линію огненныхъ нитей, въ нѣсколько рядовъ перерѣзывающую темноту воздуха, какъ проволоки волшебнаго телеграфа. То вдругъ разсыпаются на тысячи отдѣльныхъ искръ и пляшутъ въ какой-то бѣсовской пляскѣ, точно маленькіе огненные, сказочные духи, празднующіе здѣсь, въ этой тишинѣ и безлюдьѣ морозной ночи, свою дикую оргію... И невольно глаза не отрываются отъ окна, за которымъ творится какая-то живая сказка наяву, полная странной красоты и волшебства... Но приходитъ кондукторъ, предлагаетъ постелить постель и отдать ему на ночь билеты; онъ спускаетъ на окнѣ темныя занавѣски, ничуть не интересуясь тѣмъ, что тамъ дѣлается, и разрушаетъ сказку. Чувствуешь себя опять только въ вагонѣ, въ которомъ предстоитъ провесть непріятную ночь, и снова только томишься созна-

ніемъ долгаго пути. А тутъ еще пріятная перспектива быть разбуженной для пересадки и таможни, ровно въ 5 часовъ утра, когда просыпаться труднѣе всего. Но дѣлать нечего—a la guerre comme a la guerre!

Ровно въ 5 часовъ утра поѣздъ подходитъ къ Вержболову и надо выходить для таможни и пересадки уже на германскій поѣздъ. Всѣ выходятъ сонные, вялые и злые. Уже самое представленіе „таможни“ и обшариванія всѣхъ вашихъ сундуковъ всегда производитъ нервирующее дѣйствіе. Изъ порядочнаго человѣка вы вдругъ разомъ становитесь „какимъ-то сомнительнымъ субъектомъ“, сильно подозрѣваемымъ въ склонности ко всевозможнымъ мошенничествамъ. Вы чувствуете, что вамъ наносится нѣчто въ родѣ оскорбленія, противъ котораго у васъ даже отнято право протестовать, а въ то же время подобное отношеніе къ вашей личности гипнотизируетъ какъ бы васъ самого. Вы тоже уже не вполнѣ въ ней увѣрены и... слегка трусите, не зная навѣрное, наконецъ, и сами, везете ли вы какую-нибудь контрабанду въ вашихъ сундукахъ, или можете спокойно предоставить ихъ самому тщательному осмотру.

Впрочемъ, на этотъ разъ все обходится благополучно. Нѣмцы оказываются очень снисходитель-

ными; они даже не открываютъ нашего багажа, довѣряя нашему показанію, очевидно, больше, чѣмъ собственные земляки, и только берутъ съ насъ 3 марки контрибуціи за нѣсколько коробокъ конфектъ, которыми наградили насъ, провожая, наши друзья.

И вотъ мы „за границей“! Но она еще мало чѣмъ даетъ себя чувствовать. Или еще очень рано, даже и для нѣмцевъ, и всѣ ходятъ полусонные, или слишкомъ еще близко русское сосѣдство, и нѣмцы слегка „овержболовились“, такъ-сказать. По крайней мѣрѣ, и физіономія, и даже выправка еще нехарактерны, движенія лѣнивы, походки съ развальцемъ и разницы съ нашимъ Вержболовымъ немного.

Зато природа не только признаетъ эту границу, но даже какъ бы не безъ тенденціи подчеркиваетъ ее. Сейчасъ же за Эйдкуненомъ наши глубокіе снѣга исчезли, и онъ лишь легкимъ налетомъ прикрываетъ землю. Чѣмъ дальше подвигаемся мы, тѣмъ все меньше остается его и скоро онъ пропадаетъ уже окончательно, и пейзажъ изъ зимняго разомъ принимаетъ осенній, октябрьскій характеръ. Поля лежатъ обнаженныя, съ тускло зеленѣющими въ сумрачномъ разсвѣтѣ всходами озимыхъ; моросить мелкій частый дождикъ, все пронизано сыростью и туманомъ, и мы утѣшаемъ свой патріотизмъ хоть тѣмъ, что наша зима красивѣе.

Несмотря на предпраздничное время, въ вагонахъ (комфортабельныхъ и чистенькихъ, точно сейчасъ только что выпущенныхъ изъ мастерскихъ) народа довольно много. Но преобладаютъ мужчины. Женщины, очевидно, сидятъ дома и готовятся къ праздникамъ. Физіономіи и фигуры, въ контрастъ пограничнымъ,—уже характерно-нѣмецкія или, вѣрнѣе, прусскія съ ихъ военной выправкой даже у штатскихъ. Очень выхоленные усы, тщательно сдѣланные проборы, на устройство которыхъ времени употребляется, вѣроятно, не меньше, какъ дамами на ихъ прически, и туго накрахмаленные, высоко подпирающіе шею, безукоризненной свѣжести воротнички, не смявшіеся даже отъ путешествія. Всѣ эти фигуры характерны только какъ общій національный типъ, но не какъ отдѣльныя единицы, и въ общемъ всѣ мужчины, сидящіе въ нашемъ Speise-Wagen, отличаются другъ отъ друга больше возрастомъ и размѣрами, чѣмъ индивидуальными чертами.

Наблюдать ихъ надоѣдаетъ довольно быстро, и мы все нетерпѣливѣе ждемъ Берлина. Но терпѣніе наше испытывается еще долго, и мы подъѣзжаемъ къ нему только къ 8 часамъ вечера, когда уже давно стемнѣло. Тѣмъ фееричнѣе открывается видъ на его ярко освѣщенныя улицы, дома и магазины, раскидывающіеся внизу, подъ нами. Поѣздъ идетъ по городу на высотѣ, по крайней мѣрѣ, третьихъ этажей, и сверху, за-

литое огнями, все это кажется особенно эффектно и оживленно. Минутами желѣзная дорога подходитъ такъ близко къ домамъ, что въ ихъ освѣщенныя окна мы видимъ уголки чьей-то чужой жизни: мелькаютъ то чья-то веселая столовая, въ которой за столомъ подъ висящей лампой собралась семья, то чья-то маленькая гостиная съ играющей на піанино дѣвочкой, то чистенькая кухня, съ ярко блестящею посудой, аккуратно разставленной по полкамъ, и проворно разбирающейся въ ней кухаркой, въ бѣломъ плоенномъ чепчикѣ на головѣ. И всѣ эти мимолетныя живыя картины, на мигъ открывающія намъ свою интимную жизнь, издали кажутся такими уютными и привѣтливыми, что намъ почти жаль, когда дома снова прячутся отъ насъ, исчезая навсегда гдѣ-то въ пространствѣ. Мы выходимъ на Friedrichsbahnhof и отправляемся въ одинъ изъ отелей, который намъ рекомендовали еще въ Петербургѣ. Моя неутомимая спутница сейчасъ же отправляется въ театръ, привлеченная Гауптманскими „Ткачами“, которые запрещены къ представленію у насъ, въ Россіи, а я въ состояніи только раздѣться и лечь, чтобы на другой день съ освѣженными силами побольше „набрать въ себя впечатлѣній“.

На другой день приходится какъ разъ ихъ сочельникъ, и мы торопимся выйти какъ можно скорѣй на улицы, чтобы посмотрѣть, что онѣ

представляютъ собой въ подобный день. Такіе дни всегда самые характерные въ смыслѣ уличнаго движенія и городской жизни. На наше счастье, погода немного разгулялась, по крайней мѣрѣ нѣтъ больше хоть дождя, и мы безъ помѣхи можемъ предаваться своимъ наблюденіямъ.

Сначала мы не замѣчаемъ ничего особеннаго. Движеніе кажется почти такимъ же, какъ и въ обыкновенное время, но это только пока мы не попали на Friedrichsstrasse и Leipzigerstrasse. Тутъ толпа идетъ уже сплошной, непрерывающейся вереницей; экипажи, трамваи и омнибусы снуютъ безостановочно; видъ у всѣхъ страшно озабоченный и почти всѣ нагружены пакетами.

Елокъ, однако, нигдѣ не видно. Или ихъ уже раскупили, или ихъ не заготовляютъ въ такомъ количествѣ, какъ у насъ, когда у каждой мелочной лавки выставляется чуть не цѣлый садъ. По крайней мѣрѣ, за весь день мы видѣли только одну, выставленную въ окнѣ цвѣточнаго, видимо, очень дорогого, магазина. Это была большая и, по-своему, роскошная елка, но все ея убранство состояло только изъ блестящей ваты, серебряныхъ нитей и настоящихъ еловыхъ шишекъ, обсыпанныхъ брилліантовой пудрой. Вмѣсто разноцвѣтныхъ фонариковъ и восковыхъ свѣчей на ней были матовыя электрическія лампочки, и она казалась какой-то чужою, непривычною и неудовлетворяла воспоминаній дѣтства, въ которыхъ

мы всегда консервативны и не любимъ ничего измѣнять.

Другихъ елокъ, кромѣ крошечныхъ игрушечныхъ изображеній ихъ по окнамъ кондитерскихъ, мы не видѣли. Самое большее, что нѣкоторые несли отдѣльныя ихъ вѣтви, зато чуть не у всѣхъ, особенно у женщинъ и дѣтей, были въ рукахъ пучки сѣроватыхъ оливокъ и какихъ-то хвойныхъ вѣтокъ, украшенныхъ красными ягодами и розовыми цвѣтами маленькихъ иммортелей. Вѣроятно, это представляетъ здѣсь такую же рождественскую эмблему, какъ у насъ вербы на Вербной недѣлѣ.

На Leipzigerstrasse, вдоль тротуаровъ, цѣлый базаръ изъ нихъ, тоже въ родѣ нашего вербнаго. Ихъ покупаютъ всѣ нарасхватъ, и онѣ дѣйствительно такъ „пахнутъ рождествомъ", что даже и мы не можемъ устоять отъ этого чужого обычая и невольно поддаемся ему.

Насъ вообще привлекаетъ сейчасъ только то, что такъ или иначе выказываетъ манеру берлинцевъ праздновать свое рождество, и поэтому все, что носитъ на себѣ отпечатокъ ихъ вкусовъ, привычекъ и обычаевъ въ эти дни, особенно останавливаетъ наше вниманіе; но сколько мы ни присматриваемся, однако, должны сознаться, что типичнѣе всего выдаютъ эти вкусы... колбасные! и вообще гастрономическіе магазины.

Надо видѣть эти сотни розовыхъ окороковъ и жирныхъ ощипанныхъ гусей, висящихъ гир-

ляндами, перемѣшивающихся съ овощью и зеленью надъ дверьми и окнами магазиновъ. И надо видѣть и то выраженіе удовольствія на лицахъ, съ которыми нѣмцы останавливаются предъ этими магазинами, подолгу внимательно осматривая любимыя лакомства. А эти роскошныя корзины, украшенныя лентами и цвѣтами и приготовленныя, очевидно, для подношеній въ подарокъ нѣмецкимъ хозяйкамъ ихъ родственниками и поклонниками! Онѣ очень похожи на наши выставляемыя во фруктовыхъ магазинахъ, только у насъ онѣ состоятъ изъ дюшесъ и ананасовъ, а эти... изъ различныхъ сортовъ всевозможныхъ колбасъ, уложенныхъ почти художественно. И навѣрное, такая корзина практичной нѣмкѣ доставитъ гораздо больше удовольствія, чѣмъ изъ азалій и гіацинтовъ.

„Практичность“ нѣмцевъ проглядываетъ во всемъ, даже въ ихъ конфектахъ, которыя они изображаютъ въ формѣ миніатюрныхъ котлетъ, огурцовъ, селедокъ и только, вѣрно, ужъ въ видѣ особенной поэзіи—ягодами и цвѣтами!

Нѣмцу, очевидно, мало, чтобы это было только вкусно, и онъ инстинктивно стремится въ угощеніи себя лакомствами къ идеѣ чего-то еще и положительнаго. Даже самый матеріалъ, изъ котораго ихъ приготовляютъ, способствуетъ этой положительности, потому что основаніемъ всему служитъ тяжелый марципанъ. Повидимому, это одно изъ

самыхъ любимыхъ здѣсь лакомствъ, и на каждомъ шагу попадаются спеціальные магазины, заваленные цѣлыми грудами его во всевозможныхъ видахъ.

Они практичны даже „въ счастьи“ или, вѣрнѣе, въ томъ, что считается талисманами его, въ которые до сихъ поръ вѣримъ мы, женщины, къ какимъ бы странамъ и классамъ ни принадлежали. Есть старая примѣта, основанная, вѣроятно, именно на своей рѣдкости, что листики трехлистника (трефль) въ четыре лепестка приносятъ большое счастье, и вотъ, остроумные цѣмцы придумали какимъ-то искусственнымъ способомъ выводить эти чудодѣйственные листики и продавать ихъ въ крохотныхъ горшечкахъ по 50 пфениговъ за штуку! По крайней мѣрѣ, недорого, всего за 50 пфениговъ, можно купить цѣлое счастье—или хотя бы только надежду на него. Подъ Рождество и Новый годъ этотъ маленькій товаръ идетъ, говорятъ, особенно ходко, принося достаточно счастья, во всякомъ случаѣ, его остроумному изобрѣтателю, который, говорятъ, нажилъ уже огромное состояніе, и немудрено, потому что самые пессимистичные и вольнодумные, не вѣрящіе ни въ какія примѣты... покупаютъ всего по одному такому горшечку... по крайней мѣрѣ, нашъ мы раздѣлили пополамъ, благо тамъ было два листика!

Пробродивъ часа три въ этой предпраздничной

толпѣ съ ея озабоченными, но веселыми лицами, и наглядѣвшись на всѣ колбасы, мы почувствовали самый прозаическій, но здоровый и хорошій аппетитъ и начали думать, куда бы намъ отправиться удовлетворить его. Въ Германіи, а тѣмъ болѣе въ Берлинѣ, женщина можетъ войти одна совершенно спокойно въ любой ресторанъ, и никому не придетъ въ голову видѣть въ этомъ что-то подозрительное. Съ этой стороны мы были вполнѣ обезпечены, но намъ хотѣлось чего-нибудь специфически нѣмецкаго, и мы отправились въ знаменитый въ своемъ родѣ: „Zum Franziskaner". Онъ устроенъ подъ Friedrichs Bahnhof въ подвалахъ со сводами, напоминающими средневѣковые погреба, какъ ихъ изображаютъ... въ оперѣ. Въ немъ немного темновато, а надъ головами каждыя 5 минутъ съ грохотомъ проходятъ поѣзда, но зато онъ дѣйствительно очень характерно и болѣе или менѣе вѣрно воспроизводитъ средневѣковые погребки, къ чему и стремились его устроители.

Мы садимся въ средней залѣ, прилегающей непосредственно къ кухнѣ и пивному отдѣленію, гдѣ прямо изъ бочекъ съ огромными кранами нацѣживаютъ пиво по кружкамъ.

Всѣ стѣны отдѣланы темнымъ дубомъ и полотняными пано, на которыхъ изображены рыцари и златокудрыя дамы, а на нѣкоторыхъ старонѣмецкимъ шрифтомъ написаны и назидательныя

изреченія въ родѣ слѣдующаго: „Trink und iss Gott nicht vergiesz“.

Народу много, но это все больше трудовой и занятой, который приходитъ сюда поѣсть наскоро, дешево и сытно; это уже совсѣмъ другіе нѣмцы, чѣмъ тѣ, что мы наблюдали вчера въ курьерскомъ поѣздѣ. Физіономіи уже не имѣютъ такого выхоленнаго характера; ихъ обладателямъ, очевидно, не до того чтобы затрачивать много времени на подобныя вещи. Зато онѣ несравненно симпатичнѣе.

Что касается насъ, то мы очень довольны, что попали именно сюда. Все безупречно чисто, а, главное, характерно, начиная отъ этихъ грохочущихъ надъ головами поѣздовъ, темныхъ дубовыхъ стѣнъ съ рыцарями и ихъ дамами, каменныхъ сводовъ и добродѣтельныхъ изреченій въ назиданіе посѣтителей, до курьезнаго меню включительно. Послѣднее дѣйствительно такъ курьезно, что его стоитъ привести цѣликомъ:

1) Похлебка изъ чечевицы съ сосисками.

2) Карпы въ пивѣ и съ черносливомъ.

3) Сосиски съ опенками.

4) Свинина съ сладкимъ компотомъ и салатомъ изъ сельдерея.

5) Шоколадный пудингъ.

Если къ этому прибавить еще по кружкѣ пива, то придумать что-нибудь болѣе нѣмецкое—уже нельзя.

Тѣмъ не менѣе, все это очень свѣжо, доброкачественно и, по-своему даже, вкусно, а, главное, неимовѣрно дешево. Если спрашивать по отдѣльной картѣ, что всегда дороже, то самое дорогое блюдо стоитъ всего 8 пфениговъ!

Послѣ обѣда мы опять отправляемся фланировать по улицамъ, безъ всякаго опредѣленнаго плана, слѣдуя больше за теченіемъ толпы и останавливаясь тамъ, гдѣ останавливаются другіе. У одной изъ витринъ стоитъ, по крайней мѣрѣ, десятка два любопытныхъ. Подходимъ и мы; оказывается, это простой табачный магазинъ, а въ его ярко освѣщенномъ окнѣ стоятъ двѣ молодыя нѣмки, одѣтыя и загримированныя турчанками и тутъ же, за стекломъ, набиваютъ папиросы. Очевидно, живая реклама и дѣйствующая, вѣрно, очень мѣтко, если судить по собирающимся любопытнымъ.

У другого окна опять толпа. Тутъ выставлено самоиграющее механическое піанино и двѣ восковыя фигуры во весь ростъ: играющей на немъ хорошенькой дѣвушки въ нѣмецкомъ вкусѣ и объясняющагося ей на колѣняхъ въ любви молодого человѣка, воодушевленнаго на то, вѣроятно, ея музыкой. Это направлено, очевидно, уже больше къ соблазну молодыхъ нѣмочекъ, не безъ зависти и сочувствія останавливающихся здѣсь, которымъ, повидимому, достаточно завести подобное піанино, да развѣ еще на прибавку, для вѣрняка, горшо-

чекъ съ счастливымъ трефлемъ,—и поклонникъ готовъ.

Реклама вообще процвѣтаетъ въ Берлинѣ не только не меньше, но, пожалуй, даже и больше Парижа.

По мѣрѣ того, какъ смеркается, она особенно бросается въ глаза. То тутъ, то тамъ вспыхиваютъ гигантскія, электрическія вывѣски; загораются вдругъ огненными буквами цѣлые углы и даже фасады домовъ, рекомендуя какой-нибудь магазинъ, появляются въ воздухѣ, высоко надъ крышами огромные глобусы, кажущіеся точно висящими прямо въ небѣ, и т. д.

Вечеромъ толпа еще многолюднѣе, точно всѣ въ какомъ-то угарѣ спѣшатъ дѣлать послѣднія покупки, и, увы, этотъ примѣръ заражаетъ и насъ. Мы тоже вспоминаемъ, что пріѣхали въ Берлинъ всего на два дня, а магазины будутъ закрыты, говорятъ, цѣлыхъ три, и что поэтому недурно было бы теперь же купить тѣ фуляровыя рубашечки, которыя мы замѣтили еще днемъ. И мы легкомысленно устремляемся въ одинъ изъ подходящихъ магазиновъ. Но войти въ нѣмецкій магазинъ гораздо легче, чѣмъ уйти изъ него потомъ, ничего не купивъ. Исключая самыхъ большихъ, въ нихъ торгуютъ все больше „фамиліями“, начиная отъ Grossvater и Grossmutter, до младшихъ внуковъ включительно, всѣ приспособлены къ дѣлу, и едва вы успѣли попасть на

глаза хозяйкѣ, какъ къ ней уже спѣшитъ на помощь ближайшая родственница, и если обѣ онѣ не достигаютъ цѣли, то на подмогу имъ является еще молодой кузенъ или кузина и, въ самомъ крайнемъ случаѣ, если жертва все еще упрямится и не сдается, выказывая явное намѣреніе сбѣжать, то приходитъ уже самъ Grossvater и просто приказываетъ завернуть для нея товаръ, а ей заплатить за это деньги и дѣлаетъ это такъ внушительно, что ослушаніе уже немыслимо.

Но если ужъ говорить о берлинскихъ магазинахъ вообще, то нельзя не сказать объ ихъ знаменитомъ „Wert-heim“, которымъ берлинцы гордятся, какъ одной изъ главныхъ своихъ достопримѣчательностей. И дѣйствительно, это не только самый большой и роскошный магазинъ Берлина, но даже и парижскіе Лувръ и Bon marché кажутся предъ нимъ бѣдными и некрасивыми.

Это колоссальный домъ, съ безчисленными и роскошными входами, въ которомъ въ лицѣ однихъ его служащихъ вмѣщается населеніе, достаточное для маленькаго городка.

Изъ центра его главной залы въ первомъ этажѣ, отовсюду открытой и видной взгляду, въ разныя стороны развѣтвляются мраморныя лѣстницы, достойныя дворца, надъ которыми на массивномъ пьедесталѣ помѣщается статуя промышленности такихъ размѣровъ, что смѣло могла бы

изображать на какой-нибудь площади статую самой Германіи.

Ее освѣщаютъ по бокамъ два, соотвѣтственной величины и замѣчательной красоты, колоссальныхъ канделябра, на которыхъ, въ каждомъ, помѣщаются по нѣсколько сотъ электрическихъ лампочекъ. Надо отдать справедливость, что все это вмѣстѣ производитъ почти ошеломляющее впечатлѣніе, а сверху, съ высоты второго и третьяго этажей, съ этимъ моремъ огней, разстилающимся внизу, и непрестанно движущейся толпой представляетъ собой нѣчто положительно феерическое.

Уже не говоря о безчисленныхъ отдѣленіяхъ, въ которыхъ вы можете и сами одѣться съ головы до ногъ и меблировать всю вашу квартиру, онъ обладаетъ еще очень недурной картинной галлереей, въ которой художники, говорятъ, очень охотно помѣщаютъ для продажи свои произведенія, большой читальней, въ которой имѣются всѣ газеты и журналы, телеграфнымъ и телефоннымъ отдѣленіемъ, нѣсколькими гостиными, конторою для продажи билетовъ во всѣ берлинскіе театры, собственнымъ рестораномъ и зимнимъ садомъ. Тутъ предусмотрѣно и предоставлено къ удобству публики рѣшительно все и, опять надо отдать спреведливость, за минимальную стоимость, которая даетъ возможность извлекать все-таки хорошую выгоду, только благодаря колоссальному круговому обороту.

Между служащими добрая половина женщины. Рестораномъ завѣдуютъ исключительно онѣ. Все больше молоденькія нѣмочки въ бѣлыхъ чепчичкахъ и безукоризненныхъ передникахъ. Въ зимнемъ саду царитъ пріятная свѣжесть и полумракъ, очень пріятный послѣ ослѣпительнаго освѣщенія другихъ залъ. Въ немъ есть роскошныя пальмы, которыя сдѣлали бы честь и не такому саду, и цвѣтутъ въ изобиліи азаліи, гіацинты и ландыши. Вокругъ подъ листьями латаній разбросаны маленькіе, уютные диванчики, и если вы желаете, вамъ подадутъ сюда какое-нибудь освѣжающее питье, и вы можете проводить тутъ хоть цѣлый день, читая вашу газету, дожидаясь вашихъ женъ, пока онѣ будутъ увлекаться покупками по разнымъ отдѣленіямъ своего царства, потому что это дѣйствительно ихъ царство, созданное для нихъ и отчасти ими и дающее возможность кормиться имъ въ лицѣ нѣсколькихъ тысячъ работницъ.

Осмотромъ этого замѣчательнаго, въ своемъ родѣ, магазина мы въ тотъ вечеръ и покончили обозрѣніе Берлина, благо всѣ театры, благодаря сочельнику, были закрыты, а улицы тоже начали, наконецъ, пустѣть.

На другой день улицы довольно пустынны и тихи. Всѣ сидятъ у себя дома и проводятъ первый день праздника въ семьѣ.

Мы нанимаемъ фіакръ и рѣшаемъ сдѣлать въ

немъ хорошую прогулку по Берлину, хотя и знаемъ его обѣ довольно недурно. Но нельзя быть въ немъ и не побывать въ его чудномъ Thiergarten'ѣ, не посмотрѣть опять новыхъ кварталовъ, расширяющихся съ каждымъ годомъ. Ни одинъ, кажется, городъ не растетъ съ такой лихорадочной быстротой, какъ Берлинъ, за послѣднія 15—20 лѣтъ выросшій чуть не вдвое.

И какъ хороши они, эти новые кварталы его, полные простора, свѣта и воздуха, съ ихъ широкими улицами, роскошными домами и массой зелени, окружающей ихъ. Почти всѣ дома имѣютъ свои палисадники, въ которыхъ за красивыми, чугунными съ золотомъ рѣшетками зеленѣютъ яркіе газоны и цвѣтники, а близкое сосѣдство Thiergarten'а съ его вѣковыми уже рощами и аллеями среди лужаекъ и прудовъ, точно гдѣ-нибудь, далеко за городомъ, придаетъ имъ еще большую прелесть.

У насъ почему-то принято бранить Берлинъ и называть его казармами и казенщиной, и увѣрять, что по сравненію съ Парижемъ онъ не болѣе, какъ глухая провинція. Вѣроятно, подобное мнѣніе держится еще по традиціи добрыхъ сороковыхъ годовъ, когда, можетъ-быть, онъ и былъ таковымъ, но если отрѣшиться отъ этой тенденціи, какъ совершенно пристрастной и несправедливой, то онъ можетъ только восхищать своей красотой, благоустройствомъ и огромнымъ

движеніемъ, производящимся въ образцовомъ порядкѣ, безъ всякой сутолоки, окриковъ и столкновеній, какъ у насъ.

Онъ плѣняетъ уже одной своей чистотой, заставляющей его даже улицы „мыть“ въ буквальномъ смыслѣ слова, по нѣскольку разъ въ день, въ то время, какъ парижскія съ каждымъ годомъ дѣлаются все грязнѣе. Этой безупречной чистотой, которой вы невольно любуетесь и завидуете, блещутъ даже задніе дворы его. Вы можете свободно наблюдать ихъ, проѣзжая по круговой городской желѣзной дорогѣ, идущей мѣстами прямо надъ ними параллельно вторымъ этажамъ домовъ. И кругомъ опять-та же зелень, обиліе которой повсюду берлинцы вводятъ въ настоящую систему,—и все тѣ же маленькіе, чугунные балкончики, висящіе чуть не черезъ окошко. Никакой грязи, нечистотъ и какихъ бы то ни было отбросовъ, которыми такъ богаты задніе дворы другихъ городовъ и особенно нашихъ — если, правда, не считать еще итальянскихъ.

Наше обозрѣніе мы рѣшили начать сегодня съ новыхъ памятниковъ Вильгельму и Бисмарку, которыхъ еще не видѣли.

Памятникъ Бисмарку помѣщается какъ разъ напротивъ рейхстага, какъ бы все еще продолжая царить надъ нимъ, а стараго Вильгельма— на площади противъ королевскаго дворца.

Нѣмцы любятъ все „колоссальное“, и памят-

ники обоимъ своимъ любимцамъ соорудили (вѣроятно, пропорціонально своей любви къ нимъ) такихъ грандіозныхъ размѣровъ, что при видѣ ихъ такъ и хочется воскликнуть: „Dass ist kolossal!“

Особенно колоссаленъ памятникъ Вильгельма, сидящаго къ тому же верхомъ на конѣ, въ боевой позѣ. Съ какой стороны вы не обходите его, видѣть его иначе, какъ частями—все равно не можете и голова, скрывающаяся гдѣ-то подъ „облаками“, такъ и остается для васъ вѣчной тайной, сколько бы вы ни закидывали свою; взглянуть на нее удастся вѣрно уже только съ верхнихъ этажей дворца, къ которымъ она повернута лицомъ. Благодаря этому, онъ кажется стиснутымъ на своей площади, въ сущности совсѣмъ не маленькой, со всѣми прилегающими къ нему зданіями, и, конечно, страшно проигрываетъ. Такіе колоссальные монументы требуютъ и соотвѣтствующаго простора—иначе утрачиваютъ половину своей красоты.

Къ памятникамъ у нѣмцевъ вообще страсть, и по одному обилію ихъ въ Берлинѣ, гдѣ часто на одной небольшой площади разомъ поставлены четыре памятника какимъ-то великимъ людямъ, невольно приходитъ въ голову, что если бы у нѣмцевъ не было этихъ „великихъ людей“, которыхъ они могли бы увѣковѣчить въ назиданіе потомству—то они надѣлали бы ихъ себѣ изъ

разныхъ легендарныхъ героевъ или обыкновенныхъ скромныхъ гражданъ, лишь бы имѣть удовольствіе „имѣть ихъ“. Мы въ этомъ отношеніи грѣшимъ какъ разъ обратнымъ, т.-е. не цѣнимъ своихъ, даже когда имѣемъ ихъ, при жизни, и быстро забывая послѣ смерти до сихъ поръ не собрались еще поставить памятника ни Тургеневу, ни Достоевскому, ни Рубинштейну и Чай-

Берлинъ. Аллея памятниковъ.

ковскому, ни даже самому Глинкѣ, не говоря уже о всѣхъ другихъ, да и врядъ ли и соберемся когда-нибудь. Самое большое, что у насъ еще дѣлается, это—прибивается „мраморная“ доска съ золотыми буквами къ тому дому, гдѣ жилъ или умеръ знаменитый человѣкъ. Да и то больше для очищенія совѣсти, потому, что приколотивъ подобную доску, объ остальномъ, болѣе круп-

номъ, разрѣшается уже не думать. Впрочемъ... вернемся лучше къ Берлину.

Такой же страстью къ памятникамъ страдаетъ, очевидно, и молодой Вильгельмъ, соорудившій, какъ говорятъ, на свои личныя средства, на главной аллеѣ Тиргартена до полсотни ихъ, всѣмъ своимъ предкамъ, отъ какихъ-то бранденбургскихъ маркграфовъ, самыя имена которыхъ, исторіей едва запомненныя, теряются въ глубинѣ вѣковъ, и кончая все тѣмъ же знаменитымъ дѣдушкой его. Почему обойденъ его отецъ Фридрихъ II,—не знаю, но онъ единственный изъ всѣхъ, не увѣковѣченный имъ въ этой прославившейся теперь аллеѣ, упирающейся, кстати, какъ разъ въ памятникъ Славы.

Всѣ они сдѣланы по одному образцу, изъ бѣлаго мрамора, съ полукруглыми мраморными же баллюстрадами за ними, на которыхъ помѣщены по два главныхъ сотрудника каждаго изъ этихъ правителей. Ихъ дѣлали лучшіе художники и скульпторы Германіи и, тѣмъ не менѣе, несмотря даже на красоту нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ нихъ чувствуется что-то декоративное и театральное; какъ будто они изображаютъ не настоящихъ, дѣйствительно когда-то жившихъ людей, а какихъ-то вымышленныхъ легендарныхъ героевъ изъ оперы. Впрочемъ, это и естественно. Большинства изъ нихъ не сохранилось не только портретовъ, но даже и сколько-нибудь серьезныхъ

данныхъ въ исторіи, сообразуясь съ которыми, можно было бы придать имъ ту или другую физіономію. На одни розыски этихъ данныхъ по архивамъ, пошло около 5 лѣтъ, и тѣмъ не менѣе художникамъ, возсоздававшимъ ихъ, приходилось руководствоваться больше всего собственнымъ воображеніемъ. Но какъ бы то ни было, а главная аллея только выиграла отъ этой затѣи и особенно охотно посѣщается теперь не только берлинцами, которымъ Вильгельмъ сдѣлалъ этотъ подарокъ, но и иностранцами, собирающимися изучать по ней, кажется, исторію бранденбургскаго дома.

Занявшись новыми памятниками, мы не удержались уже и отъ того, чтобы взглянуть на алтарь Зевса, только-что возстановленный въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ стоялъ онъ когда-то на своей родинѣ въ Пергамѣ.

Его закончили только на дняхъ—и доступъ къ нему публикѣ былъ открытъ всего недѣлю тому назадъ.

Онъ помѣщается въ отдѣльномъ зданіи, изображающемъ родъ большой залы подъ стеклянным потолкомъ и построенномъ за національнымъ музеемъ, въ прилегающемъ къ нему паркѣ. Это зданіе изображаетъ родъ футляра надъ самымъ алтаремъ, который поднимается уступами своихъ мраморныхъ лѣстницъ и поддерживаемый колоннами, прямо къ стеклянной крышѣ, къ со-

жалѣнію, слишкомъ близко расположенной надъ нимъ и потому, точно срѣзывающей и придавливающей его своей тяжестью.

За исключеніемъ этого недостатка все остальное выполнено безукоризненно, съ чисто нѣмецкою добросовѣстностью и тщательностью, и со

Берлинъ. Новый музей.

всей возможной близостью къ тому виду, въ какомъ онъ возвышался когда-то на пергамскихъ холмахъ.

И этотъ алтарь, или вѣрнѣе, цѣлый храмъ, уже разрушенный столько вѣковъ тому назадъ и созданный вновь изъ обломковъ, такъ прекрасенъ въ своихъ строгихъ и чистыхъ линіяхъ, пол-

ныхъ благородства и простоты, что вызываетъ невольное благоговѣніе къ себѣ даже и теперь.

Его колонны и лѣстница, наиболѣе сохранившіяся, возстановлены вполнѣ, но окружающіе его по стѣнамъ, съ трехъ сторонъ, барельефы, изображающіе борьбу титановъ съ гигантскими змѣями, уцѣлѣли уже гораздо меньше и часто вмѣсто цѣлой фигуры вы видите только оставшуюся голову, кусокъ торса или борющіяся, налившіяся по жиламъ кровью и вздувшіяся въ мускулахъ руки. Но и въ этихъ уцѣлѣвшихъ частяхъ—столько мощи и экспрессіи, что по жалкимъ осколкамъ ихъ, ваше воображеніе разомъ дорисовываетъ вамъ всю фигуру, заставляя невольно преклоняться предъ геніемъ древнихъ, искусство которыхъ и до нашихъ дней остается недостижимымъ идеаломъ.

Но какъ-то жаль и больно видѣть этотъ прекрасный, мраморный храмъ, родившійся подъ синимъ небомъ Греціи и окруженный когда-то цвѣтущими миндалями и лаврами, здѣсь подъ этимъ сѣрымъ чуждымъ ему небомъ Берлина, среди чуждой и равнодушной къ его богамъ толпы, смѣнившей ту, которая шла къ нему когда-то, съ горячими мольбами и вѣрой;—толпы прекрасной и живописной, какъ самъ онъ. Какъ чуждо, сѣро и непривычно должно казаться ему теперь все кругомъ, какъ холодно, послѣ того горячаго неба, подъ которымъ онъ стоялъ и тѣхъ

горячихъ моленій, что возносились къ нему когда-то!

И подъ этимъ, сдавившимъ его потолкомъ и сомкнувшими, какъ въ тюрьмѣ, стѣнами онъ кажется царственнымъ узникомъ, полнымъ печали и воспоминаній о прежнихъ прекрасныхъ дняхъ своей славы и торжества...

Но надо отдать справедливость любознательности нѣмцевъ. Несмотря на первый день праздника, публики и самой разнообразной было очень много, и чувствовалось, что ихъ привело сюда не любопытство,—а любознательность. Она написана была на всѣхъ лицахъ, осматривавшихъ храмъ съ полнымъ вниманіемъ и уваженіемъ къ тому, что они видѣли. А тутъ были и старики, похожіе по виду на профессоровъ и ученыхъ, и учащаяся, видимо, молодежь, и блестящіе военные съ изящными дамами, и молодыя дѣвушки и даже дѣти, которыхъ привели съ собой старшіе, заботливо разъяснявшіе и показывавшіе имъ то, чего они не знали еще сами.

И то хорошо! у насъ, по всей вѣроятности, здѣсь была бы просто пустота.

Вечеромъ мы отправились въ „Ueberbrettel“ (подмостки будущаго). Это—родъ совсѣмъ новаго театра, дѣйствующій еще не болѣе трехъ лѣтъ. Намъ рекомендовали непремѣнно посмотрѣть его,

какъ одну изъ самыхъ своеобразныхъ новинокъ Берлина.

Онъ помѣщается во дворѣ, въ первомъ этажѣ одного изъ большихъ флигелей, гдѣ прежде были, говорятъ, конюшни и сараи.

Иниціаторомъ его возникновенія и главнымъ распорядителемъ состоитъ извѣстный нѣмецкій поэтъ изъ декаденствующихъ—von-Wollzogen. Онъ и театръ свой устроилъ тоже въ тенденціозно-декадентскомъ стилѣ, начиная отъ обивки стульевъ разрисовки стѣнъ и занавѣса до самого репертуара включительно. Если только можно назвать репертуаромъ ту странную смѣсь, представляющую родъ сценическаго винигрета, гдѣ разныя трагическіе „morceaux“ въ мелодекламаціи—чередуются съ куплетами, удобными скорѣй для кафе-шантана,—акты изъ оперъ съ танцами серпантинъ Лои Фюллеръ и декламаторскія повѣствованія въ стихахъ и прозѣ самого Wollzogen'а съ италіанскими пантомимами! Если прибавить къ этому пѣніе разныхъ пѣвицъ и пѣвцовъ, и скрипки, и віолончели разныхъ концертирующихъ музыкантовъ, то смѣсь получается бо̀льшая еще чѣмъ на нашихъ „музыкально-вокальныхъ, литературныхъ, танцовальныхъ вечерахъ съ живыми картинами!“.

Впечатлѣнія все время дробятся и разбиваются и, не имѣя возможности ни на чемъ сосредоточиться, приводятъ въ концѣ-концовъ только къ

утомленію и скукѣ. Но берлинцамъ это пришлось, очевидно, по вкусу. Своеобразный театрикъ быстро привился, и не только всегда переполненъ самой разнообразной публикой, но и имѣетъ уже своихъ подражателей, работающихъ не менѣе успѣшно. Говорятъ, этотъ Wollzogen, пока занимался одной литературой, страшно бѣдствовалъ, ничего не имѣлъ и былъ по уши въ долгахъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ ему пришла блестящая идея открыть свой „Ueberbrettel“, онъ сталъ быстро поправляться и въ три года сдѣлался богатымъ человѣкомъ и гораздо болѣе популярнымъ къ тому же поэтомъ, чѣмъ былъ раньше, пока только печаталъ свои произведенія, а не читалъ ихъ вслухъ съ театральной эстрады.

Онъ началъ свое дѣло въ простомъ сараѣ, съ самыми примитивными средствами, но чрезъ годъ уже могъ перевести его въ новое большое помѣщеніе и отдѣлать, если не съ большимъ вкусомъ, то во всякомъ случаѣ, съ большими претензіями и порядочными затратами.

Говорятъ, что директора другихъ двухъ театровъ въ этомъ родѣ—тоже поэты и тоже процвѣтаютъ теперь. Очевидно, что этотъ Wollzogen человѣкъ, во всякомъ случаѣ, остроумный и хорошо понявшій вкусы и требованія своего времени.

Во все время представленія, онъ почти не сходитъ со сцены, стоя подлѣ аккомпаніатора у рояля

(то выдвигающагося изъ-подъ пола, то снова проваливающагося въ него). Это—господинъ лѣтъ 40, съ маленькой козлиной бородкой, въ темномъ pince-nez и съ небрежно откинутыми, но, кажется, подвитыми волосами. На немъ какой-то особенный фракъ съ блестящими пуговицами, отложной воротничекъ, которыхъ теперь не носятъ его соотечественники—но носитъ онъ, и галстукъ, повязанный небрежнымъ бантомъ. Его обращеніе съ публикой совершенно домашнее, точно все это сидятъ его хорошіе знакомые и такое же покровительственно-небрежное, какъ его прическа и галстукъ, какъ это и подобаетъ для великаго человѣка, какимъ онъ теперь сталъ. Онъ очень любитъ разговаривать съ публикой, и предъ каждымъ новымъ номеромъ долго (хотя думаетъ, вѣрно, что „вкратцѣ") читаетъ ей содержаніе номера, предстоящаго къ исполненію, уменьшая тѣмъ значительно интересъ,—а заодно и краткую біографію артиста. Затѣмъ становится на свое мѣсто у рояля, переворачиваетъ листы аккомпаніатору, ободряетъ артистовъ изъ новыхъ и вообще играетъ роль посредника между ними и публикой.

Его актрисы, то декламирующія, то поющія, одѣты въ какія-то необыкновенныя одѣянія, которыя трудно даже назвать платьями; онѣ выходятъ тѣми классическими шагами, которыми расхаживали актеры въ доброе старое время въ

мелодрамахъ, съ распущенными волосами или, наоборотъ, собранными въ какую-нибудь совсѣмъ необыкновенную прическу, говорятъ трагическими голосами (да еще по-нѣмецки!) и злоупотребляютъ мимикой.

Мелодекламируютъ онѣ по большей части что-нибудь „ужасное“ и страшное, отъ чего слушателей долженъ подирать „морозъ по кожѣ“, но, что очень нравится мирнымъ берлинцамъ, лишеннымъ дома „сильныхъ впечатлѣній“ и желающимъ наслаждаться ими хоть въ театрѣ.

Кончивъ свой номеръ, онѣ все тѣми же трагическими шагами и съ тѣмъ же „страшнымъ“ выраженіемъ на лицахъ, которыми уже сразу озадачиваютъ и запугиваютъ болѣе нервныхъ зрителей, удаляются снова за кулисы, а потрясенная публика усердно апплодируетъ и въ восторгѣ восклицаетъ: „Wunder schön!“.

У нѣмецкихъ актрисъ экспрессія тона и мимики, вообще, большей частью, повышены въ три раза противъ нормальнаго. Онѣ точно всегда боятся, что публика недостаточно чутка и не пойметъ ихъ, и старательно подчеркиваютъ всѣ сильныя мѣста, усиленно прося къ нимъ надлежащаго вниманія и забывая, что между истинными артистами и публикой образуется такая глубокая связь и близость,—что они, какъ влюбленные понимаютъ другъ друга съ одного взгляда, улыбки

и полунамека, вполнѣ достаточныхъ, если пониманіе дѣйствительно образовалось.

У актрисы же „Ueberbrettel“ эта повышенность тона и мимики повышена еще въ три раза больше другихъ ихъ соотечественницъ, и выходитъ, ужъ, немножко сильно!

Въ контрастъ дамамъ, облеченнымъ въ декадентскія одѣянія, мужчины поголовно всѣ изображаютъ послѣднюю модную картинку и опять-таки въ такой утрированной степени, что рѣшительно не понимаешь, рядятся они такъ въ серьезъ или въ насмѣшку!

Можетъ быть это „le dernier mot de la mode“ въ своемъ родѣ, которая, не дай Богъ, проникнетъ еще и къ намъ, но всѣ они, какъ одинъ, были одѣты въ свѣтлыя клѣтчатыя брюки (даже самъ Wollzogen, несмотря на свой фракъ) цвѣтные (синіе, зеленые и лиловые) сюртуки годе, какъ наши юбки года три назадъ, съ металлическими пуговицами, и красныя жилетки съ самыми необыкновенными разводами. Если къ этому прибавить еще такихъ же необыкновенныхъ формъ воротники и галстуки, совсѣмъ подпирающіе имъ шеи, тщательно расчесанные волосы и роскошные усы, для поддержанія которыхъ въ желаемомъ видѣ, надо спать съ какими-то машинками и повязками на губахъ, то немудрено, что вы не принимаете въ серьезъ всѣ страданія и несчастія подобнаго господина, какимъ бы траги-

ческимъ голосомъ онъ ни увѣрялъ бы васъ въ нихъ.

Тѣмъ не менѣе всѣ они были вполнѣ одобряемы своими земляками, всѣ имѣли успѣхъ и шиканью подверглась только одна пантомима, въ которой какая-то италіанская синьора, живущая въ Неаполѣ и имѣющая четырехъ дѣтей, влюблялась въ какого-то господина, бѣжала съ нимъ отъ мужа и, кстати, захватывала съ собой и деньги и дѣтей. Когда эта пантомима, нисколько, въ сущности, не хуже и не лучше всего остального, кончилась—раздалось дружное шиканье. Очевидно, нѣмцамъ не нравятся подобныя идеи. Обязанности жены и матери священны, и они вовсе не желаютъ, чтобы изъ нарушеній ихъ дѣлали балеты! Положимъ, все это происходитъ не въ Берлинѣ, а въ Неаполѣ, и не съ нѣмкой, слава Богу, а съ италіанкой, но они предпочитаютъ, чтобы и въ Италіи этого не было бы, или, во всякомъ случаѣ, чтобы имъ этого не показывали! Они приходятъ сюда съ своими женами, и не желаютъ развращать ихъ подобными примѣрами. И это шиканье, такое дружное, цѣлымъ заломъ, у публики, только что такъ благодушно апплодировавшей всему предыдущему—очень характерно въ смыслѣ нравовъ; оно положило, такъ сказать, послѣдній штрихъ на наши наблюденія всего этого дня.

Второй день Рождества совсѣмъ весенній.

Солнце ярко свѣтитъ, лужайки весело зеленѣютъ и воробьи, цѣлыми стаями перепархивающіе по землѣ, оглашаютъ воздухъ своимъ щебетаньемъ. Тутъ же прямо изъ небольшихъ ручныхъ корзинокъ продаютъ фіалки и розы, и невольно начинаешь проникаться сознаніемъ, что сѣверъ остался позади и югъ уже гдѣ-то близко.

Весь Берлинъ, кажется, высыпалъ на улицы, особенно тщательно выметенныя, вымытыя и точно принаряженныя для праздника. Несутся экипажи, летятъ автомобили, трамваи берутся чуть не съ бою; всѣ рестораны и кофейни набиты биткомъ и все это движется съ такими оживленными лицами, наполняетъ улицы такимъ веселымъ говоромъ и гуломъ, невольно захватывая общимъ настроеніемъ и насъ, что мы тоже рѣшаемъ остатокъ дня, до отхода нашего поѣзда, просто профланировать, наблюдая всю эту толпу.

Она не похожа на нашу. Наша толпа всегда представляетъ собой что нибудь одно: это или только „господа“, куда народъ не пускается, или только „народъ“,—куда „господа“ не ходятъ. Тутъ же все слилось въ одинъ общій потокъ, дружно уживающійся вмѣстѣ, и принарядившагося ремесленника или молоденькую мастерицу—трудно отличить по внѣшнему виду отъ тѣхъ, на кого они работаютъ. На всѣхъ чувствуется тотъ слой поверхностной культуры, которая нѣ-

мецкаго извозчика заставляетъ, сидя на козлахъ, съ интересомъ читать передовую статью своей газеты, откладываемую имъ въ сторону только, когда его нанимаютъ, а нѣмецкаго башмачника, прекрасно понимать значеніе Бисмарка въ европейской политикѣ и обстоятельно разсуждать на эту тему.

Въ толпѣ насъ, между прочимъ, поражаетъ обиліе дѣтей; и всѣ дѣвочки, лѣтъ до 12, непремѣнно съ куклами, а мальчики, лѣтъ до 8, какъ по заказу, въ каскахъ и съ саблями.

Повидимому, вся эта дѣтвора только что получила свои рождественскіе подарки и вынесла ихъ на показъ, счастливая своими обновами.

Старшіе сочувствуютъ имъ, добродушно улыбаясь, и иногда при видѣ особенно забавнаго маленькаго воина или великолѣпной куклы, которую торжественно и бережно несетъ ея маленькая мамаша, встрѣчные громко выражаютъ свои одобренія и тогда маленькія дѣвочки радостно вспыхиваютъ и застѣнчиво улыбаются, какъ будутъ вѣрно вспыхивать и улыбаться и черезъ 10—15 лѣтъ, когда вынесутъ на прогулку своихъ нарядныхъ первенцовъ.

А въ маленькихъ военныхъ герояхъ, нарядившихся въ каски и сабли, говоритъ, вѣрно, другой, національный инстинктъ, и они шествуютъ съ важнымъ и гордымъ видомъ, какъ бы уже заранѣе проникаясь сознаніемъ его важности.

Этотъ „военный духъ“ берлинцевъ сказывается не только въ дѣтяхъ, но даже и во взрослыхъ.

Гдѣ только происходитъ хоть небольшое военное ученіе, уже стоитъ, внимательно слѣдя за нимъ, толпа и опять таки не та, что у насъ въ этихъ случаяхъ, состоящая главнымъ образомъ изъ мастеровыхъ и мальчишекъ, а самая разнообразная, въ которой цилиндры и такъ называемые „котелки“ почти преобладаютъ надъ фуражками и шапками простыхъ зрителей.

Идетъ ли по улицѣ взводъ солдатъ, опять съ обѣихъ сторонъ его сопровождаетъ цѣлая гурьба, а окна поспѣшно распахиваются и въ нихъ появляются самыя разнохарактерныя головы, начиная съ дѣтскихъ и кончая старческими.

Чтобы докончить нашъ послѣдній день въ Берлинѣ, мы рѣшили наскоро пообѣдать со знакомыми у Achinger'а, въ одномъ изъ самыхъ популярныхъ ресторановъ его.

Этотъ Achinger занимаетъ цѣлый отдѣльный домъ; по роскоши внѣшней отдѣлки, по залитымъ электричествомъ, граненымъ, зеркальнымъ окнамъ, блистающимъ, благодаря этой грани, какимъ-то волшебнымъ свѣтомъ, его можно было бы принять за какой-нибудь дворецъ. Но это только ресторанъ и при этомъ далеко не изъ первоклассныхъ и довольно курьезнаго свойства. Въ первомъ его этажѣ помѣщается самое дешевое отдѣленіе; тутъ наскоро выпиваютъ кружку пива,

закусываютъ бутербродомъ или сосисками и уходятъ. Здѣсь нѣтъ ни столовъ, ни стульевъ— всѣ ѣдятъ стоя и держа тарелки прямо въ рукахъ предъ собой.

Второе отдѣленіе въ среднемъ этажѣ (гдѣ были и мы), это родъ дешевыхъ обѣдовъ. Въ немъ вы уже имѣете свой столъ и стулъ, но насчетъ посуды все еще очень ограничено. Вы выбираете себѣ любое кушанье изъ карты дня, одно или сколько пожелаете и вамъ приносятъ ихъ всѣ сразу, уже наложенными прямо на тарелки и въ порціяхъ, приспособленныхъ для добраго аппетита хорошаго, здороваго нѣмца. Но когда я, увы, не имѣющая таковаго и не зная какъ справиться съ этой грудой мяса и картофеля, наложенныхъ на мою тарелку, попросила дать мнѣ еще другую, чистую, чтобы переложить на нее часть, то получила отказъ. Человѣкъ отвѣчалъ мнѣ, что лишнія тарелки у нихъ полагаются только для кушаній, стоющихъ больше марки, а такъ какъ мое стоитъ всего 80 пфениговъ, то надо ѣсть прямо съ поданной тарелки. Впрочемъ, когда я пообѣщала ему за это „ein trinkgeld“, то онъ смилостивился и принесъ мнѣ ее не безъ нѣкоторой торжественности. Ножей и вилокъ мѣнять здѣсь тоже не полагается, хотя бы вы ѣли три совершенно различныхъ кушанья. Вы можете, если ужъ очень брезгливы, обтирать ихъ послѣ каждаго кусочкомъ хлѣба и это дѣлается

не столько изъ экономіи матеріальной, сколько изъ экономіи времени, потому что основной принципъ этого заведенія, или, вѣрнѣе, двухъ первыхъ этажей его—это: поѣшьте сытно, но быстро и скорѣй очищайте мѣсто другимъ.

За то въ третьемъ этажѣ вы можете сидѣть уже сколько вамъ угодно. Тутъ царитъ тишина, кажущаяся почти странной, послѣ двухъ первыхъ этажей, гдѣ стоитъ гулъ, какъ въ большомъ пчелиномъ ульѣ; здѣсь прислуга ходитъ на цыпочкахъ, а сервировка блещетъ хрусталемъ, серебромъ и цвѣтами. Это уже аристократическое отдѣленіе, и, конечно, наименѣе посѣщаемое. Обиліе публики распредѣляется здѣсь пропорціонально этажамъ. Первое,—самое нижнее, прямо кишитъ толпою, сквозь которую трудно даже пробраться; во второмъ—масса народа, въ третьемъ—почти никого!

Вечеромъ мы покинули Берлинъ. Благодаря праздникамъ, въ поѣздѣ было очень мало народа и намъ отвели два большихъ купэ, гдѣ мы отлично устроились, а кондукторъ, не ожидая ничего хорошаго отъ тѣхъ, кого не было, сосредоточилъ на насъ однѣхъ все свое вниманіе и заботы.

Проснулись мы только утромъ, когда солнце уже ярко свѣтило. Когда просыпаешься въ ва-

гонѣ, то первое движеніе при пробужденіи—кинуться къ окну и заглянуть въ него. Такъ было и теперь, конечно. Мы ѣхали по какой-то очень милой и, если можно такъ выразиться, „уютной“ мѣстности, маленькіе городки съ старыми башнями и церквами, отъ которыхъ вѣяло стариной, чередовались съ хорошенькими деревушками окруженными садами; ихъ бѣлые низенькіе домики съ черепичными кровлями, завитые виноградомъ, напоминали нѣсколько наши малороссійскія хатки, а пирамидальные тополи, стройными силуэтами, въ изобиліи, возвышавшіеся повсюду, еще больше усиливали это сходство.

Вдали уже начинали смутно обрисовываться первыя горы и было что-то необыкновенно привѣтливое и поэтичное въ этой странѣ съ разсыпавшимися по ней живописными городками и этими старинными башенками, точно перезванивавшимися между собою.

Намъ захотѣлось узнать названіе этой мѣстности и мы спросили его у кондуктора.—„Эльзасъ-Лотарингія“ — отвѣтилъ онъ и въ груди вдругъ точно что-то сжалось при этихъ словахъ.

Это уже отзвукъ исторіи, очевидно, невольно, отдающійся даже и у чужеземцевъ. Въ сущности, не все ли мнѣ равно, кому принадлежитъ этотъ край, французамъ или нѣмцамъ, тѣмъ болѣе, что нѣмцевъ я даже предпочитаю и тѣмъ не менѣе, въ сердце точно прокрадывается легкая

грусть. Есть своя трагическая поэзія въ покоренныхъ странахъ и народахъ, звучащая уже въ одномъ ихъ имени. Такъ и тутъ; невольно вспомнилась печальная фигура Эльзасъ-Лотарингіи на знаменитомъ памятникѣ, въ родномъ ей Парижѣ, покрытая траурнымъ флеромъ... И звонъ, которымъ перезванивались между собою древнія башенки ея городковъ, сталъ казаться уже не радостнымъ, а печальнымъ...

Но вотъ вдали выступаетъ и Страсбургъ со своимъ чуднымъ, какъ бы доминирующимъ надъ всей страной, соборомъ.

Мы видимъ его, къ сожалѣнію, только издали, въ однихъ контурахъ, и при томъ слегка обволоченныхъ еще легкой дымкой, свойственной всѣмъ большимъ городамъ, гдѣ много фабрикъ и трубъ, но и одними этими контурами онъ уже восхищаетъ насъ. Они прекрасны и благородны въ своей строгой простотѣ, въ которой нѣтъ ни одной лишней линіи, ни одного ненужнаго выступа, а башня его, какъ вдохновенная мысль, стремится къ небу, въ высь. Мы долго смотримъ вслѣдъ ему и, когда онъ, мало-по-малу, исчезаетъ наконецъ совсѣмъ, теряясь гдѣ-то въ пространствѣ, дѣлается почти грустно точно скрылось чье-то, милое дорогое вамъ лицо, которое вы боитесь что не увидите, слишкомъ долго, а можетъ быть и никогда...

Но подступаютъ ближе горы. Онѣ раскинулись

холмистою грядою, подернутою голубовато-лиловатой дымкой, и кажется что указываютъ путь къ югу, куда мы такъ страстно стремимся, и вотъ мы уже въ Вогезахъ. Побѣжали виноградники, еще голые и мѣстами бережно прикрытые на зиму, но тоже уже какъ бы ручающіеся за тепло и солнце, безъ которыхъ имъ нѣтъ существованія. Мѣстность дѣлается все живописнѣе и веселѣй, и къ 12 часамъ утра мы пріѣзжаемъ въ Базель. Здѣсь опять граница и таможня, но настроеніе у насъ такое пріятное, что даже и таможня не портитъ его, тѣмъ болѣе, что тутъ и не придаютъ ей, очевидно, серьезнаго значенія, смотря на нее больше какъ на проформу. Насъ сейчасъ же отпускаютъ, и мы переходимъ въ вокзалъ завтракать. Буфетъ—большая просторная зала съ высокими окнами, залитыми яркимъ солнцемъ, поражаетъ своей блистающей и веселой чистотой. На всѣхъ столахъ разставлены букеты живыхъ цвѣтовъ, а на среднемъ изъ нихъ, самомъ большомъ, стоитъ нарядная елка и на этотъ разъ уже не съ электрическими лампочками какъ въ Берлинѣ, а съ настоящими розовыми и голубыми восковыми свѣчками, съ золотыми орѣхами и красными яблоками. И эта елка здѣсь, такъ далеко отъ дома, вдругъ пахнула чѣмъ-то близкимъ, роднымъ, точно послѣдній привѣтъ съ родины.

Мы садимся близъ нея и намъ подаютъ кофе

уже по-швейцарски, со свѣжимъ масломъ и душистымъ, прозрачнымъ медомъ. Это первый привѣтъ Швейцаріи, какъ елка послѣдній—изъ Россіи. И намъ и весело, и грустно немного. Мы то смѣемся и дурачимся, какъ дѣти, то вдругъ на глаза невольно набѣгаютъ слезы, не то отъ радости предъ тѣмъ, что предстоитъ, не то отъ грусти по тому, съ чѣмъ разстались...

Отъ Базеля мы ѣдемъ уже съ раскрытыми окнами. Это еще первыя, что мы раскрыли въ декабрѣ; потомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ ихъ будетъ больше, но сейчасъ они положительно приводятъ насъ въ восторгъ. Мы радостно высовываемся въ нихъ и стараемся дышать какъ можно глубже этимъ свѣжимъ, но мягкимъ воздухомъ, такимъ ласковымъ послѣ нашихъ морозовъ и вьюгъ. А навстрѣчу намъ уже быстро подвигается Швейцарія. Милая, настоящая Швейцарія съ ея голубыми озерами и снѣжными горами. Кто побывалъ въ ней разъ, тотъ уже не можетъ безъ волненія вступать въ нее снова; мы не можемъ наглядѣться, налюбоваться на нее теперь, точно при встрѣчѣ съ милымъ, старымъ другомъ, съ которымъ давно не видались, и не отрываемся отъ окна. Горы пошли уже кругомъ, но это еще зеленыя, веселыя горы, почти не знающія снѣговъ. Онѣ точно улыбаются всѣ и грѣются

на солнцѣ, лишь изрѣдка блистая вдругъ снѣжною вершиной.

То тутъ, то тамъ шумятъ, бушуя и стремительно несясь куда-то по кручамъ и камнямъ, говорливыя, неспокойныя рѣчки; мелькаютъ чьи-то прелестные домики и виллы, мы ѣдемъ по сплошному, цвѣтущему саду, и жизнь начинаетъ казаться прекрасной и радостной, охватывая вдругъ волной какого-то безотчетнаго восторга и счастья.

Хотѣлось бы остаться здѣсь, въ любомъ изъ этихъ прелестныхъ мѣстечекъ, быстро бѣгущихъ мимо и полныхъ, кажется, такого мира и покоя. Вотъ гдѣ, навѣрное, хорошо бы работалось и отдохнули бы нервы и мысль. У насъ, въ большихъ городахъ, гдѣ живешь нервной, не здоровой, суетливой жизнью,—она, эта бѣдная мысль, точно угнетенная и запуганная окружающей суетой, не можетъ расправить свободно и смѣло свои свѣтлыя крылья и унестись въ высоту. Ее вѣчно пригибаетъ къ землѣ и разбиваетъ на сотни ни на что ненужныхъ пустяковъ, а здѣсь, въ этой тишинѣ и ласкѣ природы, радостно и мощно расправила бы она сложенныя крылья свои и унеслась бы на нихъ высоко, высоко, просвѣтленная и очищенная отъ всего наносного, мелкаго и фальшиваго, чѣмъ поневолѣ питается въ городахъ.

Но мы бѣжимъ отъ этихъ мѣстечекъ все

дальше и дальше, въ какую-то чужую даль, которая еще неизвѣстно, что дастъ намъ, что принесетъ съ собой, тогда какъ здѣсь было бы такъ хорошо...

Но вотъ и Люцернъ и милое Фирвальштедтское озеро. Оно полно для меня воспоминаній, о хорошихъ счастливыхъ дняхъ, мелькнувшихъ здѣсь

Швейцарія. Люцернъ.

когда-то. Десять лѣтъ жизни ушло съ тѣхъ поръ, но сейчасъ при взглядѣ на знакомыя мѣста, онѣ невольно возстаютъ изъ затеряннаго прошлаго и воскресаютъ въ памяти такъ ясно и живо, что снова волнуютъ и будятъ въ душѣ прежнія чувства и отжитыя уже настроенія...

Но тогда былъ разгаръ лѣта. Все было засыпано цвѣтами и полно жизни и звуковъ.

Въ горахъ звучали альпійскіе рожки охотниковъ, въ долинахъ бродили стада, тихо звеня колокольчиками, а внизу, прямо подъ нами, стояла маленькая, деревенская церковка и каждыя 1/4 часа старинные куранты на ея башинкѣ, играли свою наивную мелодію. И все это сливалось въ одну общую гармонію съ красотой голубого озера и неба, и цѣпью прелестныхъ горъ, лиловато-дымчатой грядой уходившихъ въ даль... а также и съ собственной молодостью, счастьемъ и жизнерадостностью, такъ пѣвшими тогда еще въ душѣ!

Теперь здѣсь тихо и немного сумрачно... Солнце уже зашло и сумерки быстро надвигаются, окутывая все своими сѣрыми тонами... Не слышно больше ни пастушьихъ рожковъ, ни колокольчиковъ пасущихся стадъ... Все засыпано снѣгомъ и точно ежится на холодѣ. Этотъ снѣгъ только слегка, какъ крупною солью, посыпалъ долины и горы, но его уже достаточно, чтобы создать иллюзію зимы и холода, невольно проникающихъ и въ сердце...

Сумерки все сгущаются. Страна перестала улыбаться и посуровѣла. Горы стали гораздо выше и уже отвѣсными, каменными громадами падаютъ въ озеро. Онѣ нахмурились, и темныя тѣни, какъ черныя мысли, залегли по ихъ складкамъ и ложбинамъ, точно морщины на постарѣвшемъ вдругъ лицѣ природы, еще недавно, казалось, такъ весело смѣявшейся. И намъ стало грустнѣе;

опять почувствовалась оторванность отъ дома, отъ родины, отъ всего привычнаго и близкаго и точно какая-то затерянность здѣсь, среди этихъ чужихъ, хмурящихся на насъ горъ.

Чтобы развлечь себя, мы во время остановокъ поѣзда на маленькихъ станціяхъ, которыхъ здѣсь множество, занимаемся наблюденіями надъ мѣстнымъ населеніемъ.

Оно по большей части крупно и росло, съ отпечаткомъ силы и выносливости въ широкихъ, мускулистыхъ фигурахъ и нѣкоторой суровости на энергичныхъ, спокойныхъ лицахъ. Кажется, что характеръ здѣшней природы, полный величаваго покоя и вдумчивой тишины, отразился и на людяхъ. Ихъ голоса ровны и негромки; движенія нѣсколько замедленныя, а поступь размѣренная, приноровленная къ ходьбѣ по горамъ и кручамъ, на которыя они поднимаются привычнымъ, не спѣшнымъ шагомъ. И кажется, смотря на нихъ, что этимъ людямъ чужды наши страсти, наши больные нервы и сильныя чувства. Ихъ жизнь, какъ и ихъ натуры, проста, сурова, и спокойна. Они родятся, вырастаютъ, созрѣваютъ и умираютъ, какъ плоды на деревѣ, съ спокойной и нѣсколько суровой простотой выполняя назначеніе, возложенное на нихъ самой природой, въ непосредственномъ общеніи съ которой они всегда живутъ,—ничего больше не требуя отъ своей жизни...

Но чѣмъ становится темнѣе, тѣмъ все ближе надвигаются горы; кажутся все выше и мрачнѣе и отъ нихъ уже хочется уйти, хочется раздвинуть ихъ и вырваться куда-то на просторъ, къ свѣтлому небу, которое онѣ загромождаютъ, но онѣ не уходятъ, а наступаютъ все грознѣе и сумрачнѣе, точно стискивая въ своихъ камен-

Швейцарія. Близъ перевала С.-Готардъ.

ныхъ объятіяхъ и со всѣхъ сторонъ замыкая отъ васъ міръ.

Дѣлается все холоднѣе. Окна давно уже закрыты и всѣ кутаются во что-нибудь теплое. Снѣгъ лежитъ уже повсюду и не поверхностный, какъ еще недавно, а настоящій, глубокій, все засыпавшій кругомъ, какъ тамъ у насъ на сѣ-

верѣ. Но тутъ онъ почему-то кажется печальнѣе. Отъ него вѣетъ холодомъ и молчаніемъ и мѣстность становится все безлюднѣе и безлюднѣе... Это близится С.-Готардскій перевалъ. Мы медленно поднимаемся на него среди этихъ кручъ и обступающей темноты и нашему локомотиву точно трудно взбираться туда. Онъ тяжело дышитъ и хрипитъ, какъ человѣкъ, взбирающійся на высоту.

И кажется, что мы точно застряли гдѣ-то въ снѣгахъ и не найдемъ уже пути къ милому югу. Даже не вѣрится, отсюда, изъ этого царства вѣчныхъ снѣговъ, что онъ существуетъ...

Но что загоняетъ сюда человѣка? Нужда? Борьба за существованіе та же самая, что заставляетъ свободныхъ птицъ, для которыхъ казалось бы открытъ весь прекрасный міръ, забираться далеко на сѣверъ, или просто покорность судьбѣ, забросившей его сюда, и привычка къ роднымъ мѣстамъ?.. Потому что жилье есть и тутъ. Оно разбросано рѣдкими, одинокими домиками и въ темнотѣ ночи они свѣтются огоньками своихъ маленькихъ окошекъ, точно смотрящихъ намъ вслѣдъ. И въ этихъ одинокихъ огонькахъ, заброшенныхъ здѣсь среди пустыни снѣговъ и каменныхъ громадъ, придавливающихъ ихъ горъ, гдѣ царитъ полное молчаніе и безлюдіе на много верстъ кругомъ, есть что-то безконечно трогательное и печальное. Они какъ бы разсказываютъ

о тяжелой, суровой жизни тѣхъ, кто зажегъ ихъ и грѣется теперь у ихъ тепла и свѣта, быть можетъ даже счастливый и довольный по-своему... А надъ всѣмъ этимъ ярко горитъ звѣзда. Это Венера, но здѣсь, съ этихъ высотъ и въ прозрачной чистотѣ горнаго воздуха, она кажется вдвое ярче и больше и даже бросаетъ отблескъ своихъ лучей на бѣлизну дѣвственнаго снѣга и небо кажется отсюда такъ близко, и такъ прекрасно все открытое взгляду, что мысль невольно стремится къ нему,.. Но вотъ и С.-Готардскій туннель, этотъ рубиконъ въ своемъ родѣ, который мы должны перейти, чтобы попасть въ царство юга, съ его солнцемъ, лазурнымъ моремъ и цвѣтами.

Локомотивъ даетъ свистокъ, совсѣмъ какой-то особенный, прежде чѣмъ влетѣть въ темную пасть, готовящуюся поглотить его. Есть дни и имена и мѣста, уже сами по себѣ полные такого глубокаго значенія, что невольно волнуютъ однимъ сознаніемъ своимъ. И влетая въ этотъ темный узкій и самый длинный въ мірѣ коридоръ земли, насъ тоже охватываетъ странное чувство, не то торжественное, не то жуткое, и, кажется, что въ этотъ мигъ дѣйствительно переживается что-то важное и значительное. Но неужели и здѣсь ютятся люди? Говорятъ, что и тутъ есть жилье сторожей. Смутно, точно какой-то пламень, вырывающійся изъ нѣдръ земли, вспы-

хиваютъ минутами какіе-то мрачные огни. Невольно представляешь себѣ всю тоску этого тяжкаго существованія, запрятаннаго въ темной и мрачной глуби и тѣ огоньки, что только что мелькали въ одинокихъ домикахъ, затерянныхъ въ снѣгахъ, но подъ просторомъ открытаго неба, кажутся счастливыми въ сравненіи съ этими. Приходитъ на память и исторія работы этого туннеля. Сколько человѣческихъ жертвъ поглотила она, прежде чѣмъ пришла къ концу. Сколько отчаянія и тоски залегло вѣрно на душу тѣхъ, кто долгіе годы проработали въ этихъ нѣдрахъ земли, таинственныхъ и ужасныхъ, угрожавшихъ каждую минуту смертью или калѣчествомъ тѣмъ, кто шелъ на эти каторжныя работы! Какая побѣда и торжество человѣческаго труда, доходящаго почти уже до демонизма въ своемъ упорствѣ, смѣлости и энергіи, съ одной стороны, и какая вѣрно тяжкая и безвыходная нужда и горе—съ другой, тѣхъ, кто добровольно шелъ на этотъ адскій трудъ. И достигли ли они потомъ за это чего-нибудь? Гдѣ тотъ памятникъ, на которомъ увѣковѣчены ихъ имена, или они затерялись, по обыкновенію, въ темнотѣ человѣческой неблагодарности? Но, можетъ быть, ихъ всѣхъ щедро осыпали золотомъ, или, наконецъ, хоть обезпечили вполнѣ остатокъ ихъ существованій, которыя они жертвовали и разрушали здѣсь? Врядъ ли; люди привыкли давать только тѣмъ, кто требуетъ

правомъ сильнаго, а большинство человѣчества уже какъ бы родится съ сознаніемъ своего безправія и поневолѣ примиряется съ нимъ! Всѣ эти мысли сами собой толпятся въ головѣ за тѣ 18 минутъ, что вы томитесь въ этомъ подземельѣ. Томятся всѣ вокругъ, чувствуя себя какъ точно заживо погребенные; томится, кажется, даже и самый локомотивъ, влекущій нашъ поѣздъ. Онъ летитъ съ какимъ-то усиленнымъ хрипомъ и отчаяннымъ свистомъ, точно сказочное, одухотворенное существо, и несется все быстрѣе и быстрѣе, какъ бы стремясь вырваться скорѣй на свободу изъ своего заточенія, и, наконецъ, вырывается! И радостный вопль раздается изъ его могучей груди, точно привѣтъ небу, опять распростершемуся надъ нимъ и усѣянному звѣздами, вмѣсто давившей его своими тисками каменной пасти...

Мы инстинктивно бросаемся къ окнамъ тоже въ жаждѣ этого неба, но его застилаетъ оставшійся налетъ отъ дыма и мрачная темнота ночи, въ которую надо долго вглядываться, чтобы отличить, гдѣ кончаются горы и начинается небо. Поѣздъ идетъ тише, какъ бы отдыхая послѣ большого труда и наслаждаясь разстилающимся кругомъ просторомъ. Мы тоже устали отъ напряженнаго вниманія и той безостановочной смѣны впечатлѣній, чередовавшихся какъ въ калейдоскопѣ въ продолженіе цѣлаго дня и невольно

примолкаемъ теперь и кутаемся въ мѣха, потому что въ воздухѣ все еще очень холодно.

Такъ мы ѣдемъ опять часа два-три, слегка оживившись только разъ, когда проѣзжаемъ мимо озера Комо. Оно смутно, какъ во снѣ, какой-то темной картинкой мелькнуло предъ нами своими безчисленными огоньками, полукруглой цѣпью раскинувшихся по берегу и темнымъ абрисомъ возвышающихся за нимъ горъ. И зная, какъ прелестно это мѣсто, хотѣлось бы сдернуть съ нихъ скрывающій все черный пологъ ночи, залить солнцемъ, оживить яркими красками юга и тогда взглянуть на нихъ. Но сдѣлать этого, конечно, невозможно, а мысль такъ устала за день, что даже и въ воображеніи отказывается воспроизвести себѣ это.

Даже не вѣрится, что мы находимся въ Италіи, въ той самой Италіи, куда такъ страстно стремились, и на землю которой ступимъ теперь чрезъ какой нибудь часъ. Очевидно, притупившаяся впечатлительность даже и эту мысль не воспринимаетъ больше. Намъ хочется только скорѣй доѣхать до мѣста и лечь спать и мы рѣшаемъ остановиться въ Миланѣ и переночевать тамъ, чтобы хорошенько отдохнуть и съ новыми силами продолжать на другой день наше путешествіе, уже по Италіи, этой обѣтованной странѣ для насъ; такъ мы и дѣлаемъ.

——

Я не буду описывать Миланъ; во-первыхъ, этотъ разъ мы пробыли въ немъ всего нѣсколько часовъ, а во-вторыхъ, онъ и самъ по себѣ недостаточно интересенъ для этого.

Кромѣ его знаменитаго собора, пассажа и театра la Scala въ немъ почти нечего смотрѣть. Но въ la Scal'ѣ мы не были, описывать пассажъ не стоитъ а подробное описаніе собора тоже взяло бы слишкомъ много времени. Скажу только, что и съ миланскимъ соборомъ повторяется тоже самое впечатлѣніе, о которомъ я уже упоминала по поводу памятника старику Вильгельму въ Берлинѣ. Онъ черезчуръ массивенъ для такой маленькой площади, на которой и вдвое меньшій былъ бы уже слишкомъ великъ. Затиснутый среди домовъ и улицъ, онъ недоступенъ ни съ какой точки, для обозрѣнія его въ цѣломъ видѣ и можетъ быть разсматриваемъ только частями, отчего, конечно, страшно проигрываетъ. Прекрасный и грандіозный самъ по себѣ, здѣсь онъ кажется какой-то огромной, отвѣсной скалой, которую напоминаетъ отчасти и по цвѣту, и по очертаніямъ, и чуть не раздавливаетъ ту миніатюрную въ сравненіи съ нимъ площадь, на которой воздвигли его.

Къ тому же въ Миланѣ, когда мы были, былъ такой холодъ, что давно уже, даже у себя въ Петербургѣ, мы не мерзли такъ, какъ мерзли тамъ за тѣ три часа, что ѣздили, наскоро осматривая его. Отъ холода стыли до боли руки и

ноги и мы не могли никакъ согрѣться, какъ только ни кутались. Кутались также, кто во что могъ, начиная отъ фантастическихъ шубъ, съ собачьими воротниками, до байковыхъ одѣялъ, накинутыхъ вмѣсто пледовъ, и всѣ миланцы, имѣвшіе какой-то жалкій и растерянный видъ, всѣ посинѣлые и дрожащіе отъ холода, къ которому они, очевидно, и не привыкли и не приспособились.

Какъ одинъ изъ самыхъ большихъ городовъ Италіи, Миланъ вовсе не характеренъ; если не знать навѣрное, что находишься въ Италіи, то съ такимъ же точно успѣхомъ можно вообразить себя въ одномъ изъ городовъ Австріи, Франціи или Южной Германіи. Не характерна и толпа его; въ ней нѣтъ ничего специфически италіанскаго, невольно отмѣчающаго ее въ другихъ ея городахъ; попадаются, правда, изрѣдка, красивыя италіанскія лица, но они тонутъ въ общей массѣ, ничего къ ней не прибавляя. И въ то же время это городъ необыкновенно шумный а на главныхъ улицахъ кажущійся очень многолюднымъ, благодаря непрерывному движенію трамваевъ, которые перерѣзали всѣ улицы, и безъ того узкія и неудобныя для ѣзды. Одни уже эти снующіе всюду трамваи и ихъ безостановочные звонки, могутъ разстроить нервы, и должно быть они очень крѣпки у мѣстныхъ жителей, переносящихъ все это совершенно спокойно.

Въ 3 часа дня нашъ поѣздъ отходилъ въ Геную и мы съ удовольствіемъ отправились дальше.

Едва войдя въ вагонъ, мы сразу почувствовали всю разницу желѣзныхъ дорогъ Италіи и Германіи. Вмѣсто чистенькихъ, комфортабельныхъ нѣмецкихъ вагоновъ II класса, вы попадаете въ грязные, неудобные еще допотопной системы, вагоны I класса италіанской дороги, которые по праву могли бы считаться скорѣй третье-классными и то не у насъ, и не въ Германіи. Къ тому же въ вагонахъ страшно холодно. Ихъ не топятъ, полагаясь на италіанскій климатъ и солнце, котораго и признака сейчасъ нигдѣ не видно. Небо, точно въ Петербургѣ, обложено все сѣрой пеленой, въ воздухѣ стоитъ свинцовая мгла и изъ оконъ вмѣсто ожидаемыхъ „италіанскихъ ландшафтовъ", видны какія-то тундры и болота, покрытыя кое-гдѣ чахлыми, рѣдкими деревьями, какой-то странной формы, совсѣмъ безъ вѣтвей, съ однѣми тощими метелками у самыхъ верхушекъ, непомѣрно вытянувшихся въ длину.

Рѣшительно можно подумать, что ѣдешь въ скверный ноябрьскій день гдѣ-нибудь подъ Петербургомъ, по Финляндской дорогѣ. Начинаемъ уже и сами соглашаться, что „солнца въ декабрѣ, все равно нигдѣ нѣтъ", и сожалѣемъ о теплыхъ калошахъ, выброшенныхъ въ Берлинѣ. И зачѣмъ мы не остались вчера подъ Базелемъ, гдѣ было такъ хо-

рошо! Ѣдемъ все такими же пріятными мѣстами и въ сыромъ туманѣ, часъ, другой и, наконецъ, показывается... первый снѣгъ!! Чѣмъ дальше, тѣмъ становится его больше, хотя онъ не смѣетъ оправдываться даже и „горной мѣстностью“, какъ вчера въ Швейцаріи. Горъ и признаковъ нигдѣ нѣтъ и онъ ютится больше по канавамъ, проведеннымъ, очевидно, для осушенія, на каждомъ участкѣ, изображающемъ изъ себя ровные квадраты.

Намъ даже и въ окна не хочется больше смотрѣть, такъ тамъ все уныло и противно. Съ нами въ купэ сидятъ еще два старые италіанца. Оба они толсты, оба грязны, оба закутаны въ какія-то просаленныя одѣяла, отъ которыхъ скверно пахнетъ оба плюютъ направо и налѣво и безъ умолку болтаютъ хриплыми голосами и съ отчаянною мимикой и жестами.

Намъ они страшно надоѣли, но дѣться отъ нихъ все равно некуда и приходится—хочешь, не хочешь—терпѣть. За то мы въ Италіи, и, почти застывъ отъ холода, отъ котораго не можемъ ничѣмъ спастись, мы начинаемъ, наконецъ, смѣяться и трунить сами надъ собой, поздравляя другъ друга съ прибытіемъ въ нее!

Однако, пока мы стоимъ на какой-то маленькой станціи, до полной иллюзіи перебрасывающей васъ въ глушь Новгородской губерніи, совершается вдругъ настоящее чудо. Не успѣваемъ мы

отъѣхать отъ нея, какъ отъ тумана, точно по волшебству, и слѣда больше не остается. Небо вызвѣздило яркими, южными звѣздами, а на горизонтѣ заволновались опять абрисы горъ и даже воздухъ точно разомъ потеплѣлъ.

До Генуи осталось не больше часа и чрезъ какія-нибудь 40 минутъ она уже выступаетъ предъ нами милліонами своихъ огней. Огромный подъѣздной путь, весь изрѣзанный сѣтью рельсъ и рядами запасныхъ вагоновъ, ведетъ къ ней, отнимая добрыхъ $^1/_4$ часа на то, чтобы пройти его. Внизу, въ заливѣ, который мелькнулъ на минуту, цѣлый лѣсъ пароходныхъ трубъ и мачтъ ея порта, и тутъ же по дорогѣ мы минуемъ нѣсколько огромныхъ фабрикъ и заводовъ, ярко залитыхъ электричествомъ и энергично работающихъ паромъ и машинами, гулъ которыхъ доходитъ до насъ даже сквозь стукъ поѣзда.

Поѣздъ наконецъ останавливается; мы выскакиваемъ на платформу и толпа носильщиковъ, въ однѣхъ синихъ полотняныхъ блузахъ, съ громкимъ италіанскимъ говоромъ и жестикуляціей, окружаетъ насъ, выхватывая другъ у друга нашъ багажъ. Надъ нами темное звѣздное небо, воздухъ мягокъ и теплъ, и тутъ же прямо противъ вокзала растутъ роскошныя, огромныя пальмы.

Здравствуйте первыя пальмы! здравствуй чудный, благословенный югъ! Вотъ когда мы только,

наконецъ, въ Италіи! Теперь уже въ настоящей Италіи!..

Генуя.

Мы собирались пробыть въ Генуѣ всего два дня, но прожили цѣлыхъ шесть и уѣхали съ такимъ сожалѣніемъ, точно изъ родного города, покидать который, не зная, когда вернетесь въ него обратно, всегда немного грустно. Она сразу, съ перваго же дня, плѣнила насъ своей красотой, и чѣмъ больше мы осматривали ее, тѣмъ больше открывали въ ней красоты. Это, безспорно, одинъ изъ самыхъ живописныхъ и характерныхъ городовъ старо-италіанскаго типа, на который средніе вѣка, главнымъ образомъ, создавшіе его, наложили такую глубокую печать своего времени и эпохи, что она держится еще и до нашихъ дней.

Съ каждой его улички, съ каждой площади точно оживаютъ цѣлыя страницы исторіи, невольно рисуя воображенію Геную стараго, далекаго времени.

А горы, окружающія ее живописной грядой, точно рамкою, и яркое, голубое море, широко раскинувшееся предъ ней, только усиливаютъ, конечно, ея красоту, придавая ея видамъ такое разнообразіе, которое не часто встрѣчается даже

и въ италіанскихъ городахъ. Но я думаю, что главная ея прелесть все-таки въ ея воздухѣ и синевѣ неба, придающіе всему удивительное освѣщеніе. Оно какъ бы подчеркиваетъ каждую краску и, пронизывая своимъ яркимъ блескомъ, придаетъ и живописность даже тому, что подъ другимъ небомъ и въ другомъ освѣщеніи, казалось бы, быть можетъ, только безобразнымъ. Напримѣръ, хотя бы то же самое бѣлье, которымъ обвѣшана вся Генуя. Чуть не изъ каждаго окна выкинуты сушиться на солнцѣ разныя бѣлыя рубашки, красныя юбки и синіе жилеты, въ бѣдныхъ кварталахъ представляющіе собой, въ сущности, только груду жалкихъ лохмотьевъ, но тутъ, на этомъ солнцѣ и сѣрыхъ стѣнахъ, фономъ для которыхъ служитъ жгучее синее небо, они вырѣзываются такими яркими и красивыми пятнами, что кажется, если бы ихъ снять—Генуя сразу бы подурнѣла. Есть улицы, на которыхъ оно прямо развѣшано на веревкахъ, перекинутыхъ изъ одного окна въ другое, напротивъ, и развѣвается, точно тѣ флаги, которыми мы украшаемъ наши города въ торжественныхъ случаяхъ.

Даже старые, обветшалые дома (не старинные,— тѣ всегда прекрасны, потому что по нимъ прошли вѣка и обаяніе исторіи), а именно старые, съ облѣзлой штукатуркой и съ вылинявшею краскою, мутными потоками протекшими по покосившимся стѣнамъ — и тѣ, по-своему, красивы.

Какая-нибудь вѣтка плюща или вьющихся красныхъ розъ, которыхъ здѣсь множество, прицѣпилась къ нимъ гдѣ-нибудь съ боку, и завила эти обезображенныя, грязныя стѣны такимъ причудливымъ рисункомъ, придала опять такую своеобразную, художественную красоту, предъ которой новенькіе, только-что отстроившіеся и свѣже-выкрашенные, кажутся пошлыми и рѣжутъ глазъ своей антихудожественностью.

Да такихъ, впрочемъ, и немного. Очевидно, прирожденный инстинктъ вкуса и эстетики удерживаетъ отъ этого генуэзцевъ, заставляя ихъ даже и новыя постройки возводить все въ томъ же старомъ стилѣ, придавая имъ тѣ линіи и тона, которые такъ художественно и благородно гармонируютъ съ общей картиной. И вездѣ, гдѣ только возможно, лѣпится зелень. Ея то темныя, то яркія и сочныя купы, спутанныя съ цвѣтами розовыхъ гераніевъ и алыхъ розъ и съ золотыми плодами померанцевъ, захватили всѣ уголки, гдѣ только былъ для нихъ кусочекъ почвы и питанія, и заплели не только стѣны, но даже и крыши домовъ, на которыхъ иногда развѣваются роскошныя кроны перистыхъ пальмъ, какимъ-то чудомъ попавшихъ туда.

Начало обычаю этихъ воздушныхъ садовъ положили, вѣроятно, тѣ гордые дворцы, что строились еще въ среднихъ вѣкахъ, и надменные владыки, которыхъ даже и подъ открытымъ небомъ

не желали смѣшиваться съ плебейской толпой и, чтобы изолировать себя отъ нея, воздвигали на недоступной высотѣ своихъ крышъ цѣлые сады Семирамиды.

Но постепенно этотъ обычай, удовлетворявшій врожденнымъ эстетическимъ вкусамъ народа, изъ аристократіи, создавшей его въ гордынѣ своей, перешелъ въ средніе слои общества, стремившіеся подражать ей, а затѣмъ и въ народъ, у котораго, въ сущности, иного свободнаго мѣста и не было. Въ противоположность нашей бѣднотѣ, обреченной ютиться по темнымъ, сырымъ и нездоровымъ подваламъ, италіанская—селится на чердакахъ и крышахъ, на которыхъ благодаря этому создалась, высоко надъ городомъ и землею, своя жизнь, очень типичная и интересная, полная звуковъ и движенія.

При большой гористости Генуи, всѣ ея улицы и тротуары расположены крайне неправильно. Нѣкоторые изъ нихъ кажутся запрятанными чуть не въ пропасти, другіе же, наоборотъ, громоздятся по высямъ, прямо надъ ними, и часто тротуары одной приходятся въ уровень съ крышами шести - и семиэтажныхъ домовъ другой, сосѣдней, и, идя по этимъ тротуарамъ, вы свободно можете наблюдать ихъ своеобразную жизнь.

Иногда отъ одного дома перекинуты къ другому легкіе, висящіе, въ сущности, надъ про-

пастью мостики, по которымъ и сообщаются обитатели этихъ оригинальныхъ верховъ.

Все хозяйство ведется откровенно, на виду у всѣхъ.

Женщины тутъ же стряпаютъ, стираютъ и развѣшиваютъ свое классическое бѣлье, громко и весело перекликаясь между собой чрезъ свои мостики и крыши, въ такихъ живописныхъ, безсознательно уже принимаемыхъ ими позахъ, что порой вы невольно остановитесь, залюбовавшись ими.

И, прислушиваясь къ веселымъ голосамъ этихъ людей, которыхъ загнала въ ихъ поднебесье тяжелая нужда, вы какъ-то не чувствуете на нихъ гнета ея, и вамъ кажется, что здѣшнимъ бѣднякамъ живется все-таки гораздо легче, чѣмъ нашимъ. Какъ бы тамъ ни было, но ихъ окружаетъ такая роскошь природы, такое изобиліе цвѣтовъ, свѣта и солнца, которое для насъ, жителей суровыхъ странъ, доступно только при хорошихъ средствахъ.

Конечно, горе, страданіе и нищета есть и здѣсь, какъ и повсюду, но здѣсь подъ общей красотой и живописностью скрыты или, вѣрнѣе, замаскированы ихъ внѣшніе зловѣщіе и удручающіе признаки.

Зато какіе романы происходятъ, вѣрно, подъ часъ, на этихъ прелестныхъ крышахъ, полныхъ зелени, цвѣтовъ, развѣшаннаго бѣлья и весело

распѣвающихъ женщинъ. Сколько влюбленныхъ перебѣгаетъ, навѣрное, другъ къ другу по этимъ животрепещущимъ мостикамъ, а при случаѣ и по какой-нибудь другой, еще болѣе головоломной и рискованной дорогѣ. Вся окружающая обстановка должна создавать ихъ: и эта близость жгучаго синяго неба, днемъ залитаго солнцемъ, а по ночамъ усѣяннаго яркими, южными звѣздами, и эта ласкающая мягкость и теплота воздуха, и разлитыя въ немъ пѣсни, которыми звучитъ вся Италія, и, наконецъ, даже самая красота этого народа, которой такъ щедро надѣлила его природа, и такъ естественно, конечно, влекущая ихъ другъ къ другу!

Но и сколько драмъ происходитъ здѣсь, вѣрно, подъ часъ, рождаемыхъ страстностью и ревностью, этихъ пылкихъ и чувственныхъ натуръ, и, быть можетъ, не одинъ разъ какой-нибудь злополучный влюбленный летѣлъ внизъ, сброшенный гнѣвной и мстительной рукой, и разбивался тамъ о камни мостовой.

Днемъ, впрочемъ, здѣсь незамѣтно ни влюбленныхъ, ни ихъ мстителей. Въ это время здѣсь настоящее женское царство. Мужчины предпочитаютъ землю и площади города, на которыхъ и фланируютъ, посвистывая и покуривая, и ничего другого, кажется, не дѣлая.

Почти каждый кварталъ имѣетъ свою маленькую площадь, играющую роль какого-то обще-

ственнаго салона, куда собирается и гдѣ толпится цѣлый день весь сосѣдній околотокъ. Посрединѣ ихъ почти неизбѣжно высится мѣстный соборъ или церковь, порой поражающіе своими чудными линіями и характерной стариной, а съ боковъ они плотно стиснуты прилегающими домами, между которыми проложены, большею частью лѣстничками, узенькія улички, такія узенькія и темныя, что гораздо больше похожи на какіе-то коридоры, въ которыхъ съ трудомъ можно было бы втиснуть даже шкапъ, чѣмъ на улицы съ выходящими на нихъ сотнями оконъ и переполненныя обитателями. Смотря на нихъ, рѣшительно не понимаешь, чѣмъ эти люди дышатъ, тамъ куда ни свѣтъ, ни воздухъ очевидно никогда не проникаютъ, а развѣшанное на веревкахъ бѣлье, безцеремонно задѣвающее по головамъ прохожихъ, отнимаетъ и послѣдній доступъ къ нимъ. Но италіанецъ мало этимъ безпокоится, потому что, въ большинствѣ случаевъ, приходитъ домой только спать. Его настоящая квартира—это улица и площадь. На нихъ онъ находитъ все, что ему нужно и что ему нравится. Тутъ ежедневно устраивается родъ рынка, на которомъ онъ и продаетъ и покупаетъ всякія мелочи; тутъ къ его услугамъ есть маленькія и грязныя таверны и кофейни, пропитанныя запахомъ чесноку, табака и жаренаго масла, забросанныя окурками и апельсиновыми корками, но

всегда переполненныя народомъ и пріятелями; тутъ же бродячіе акробаты и фокусники даютъ свои представленія, а мегеристыя на видъ старухи жарятъ на переносныхъ жаровняхъ каштаны и продаютъ дешевыя устрицы и улитки, прямо здѣсь же, на улицахъ, съ аппетитомъ поѣдаемыя желающими и запиваемыя любимымъ кіанти.

Тутъ у него всѣ пріятели и знакомые, потому что онъ всѣхъ знаетъ и его всѣ знаютъ. По крайней мѣрѣ такое впечатлѣніе производятъ эти маленькія площади, на которыхъ всѣ кажутся короткими пріятелями между собой. Всѣ громко разговариваютъ между собой, перекидываются замѣчаніями чрезъ всю площадь, и происшествіе съ кѣмъ-нибудь однимъ сейчасъ же дѣлается темой общаго горячаго обсужденія, которымъ всѣ немедленно заинтересовываются, принимая самое непосредственное участіе.

Эти площади кишатъ народомъ въ продолженіе всего дня, затихая только къ вечеру, но и на другихъ улицахъ, вплоть до самыхъ аристократическихъ, его также много, особенно между двумя и пятью часами. Въ это время все высыпаетъ на улицѣ и подлѣ привилегированныхъ кондитерскихъ и ресторановъ точно такія же многолюдныя и постоянныя группы изъ мужчинъ, принадлежащихъ къ такъ называемому обществу, какъ на тѣхъ площадяхъ изъ простого народа. И тѣмъ, и другимъ, судя по этимъ ежедневнымъ

сборищамъ, рѣшительно, кажется, нечего дѣлать. А, можетъ быть, именно тутъ-то они и устраиваютъ свои дѣла, но насъ, привыкшихъ у себя, въ Россіи, чтобы наши мужчины были бы всегда „заняты“ и въ это время дня находились бы непремѣнно на своихъ службахъ, это невольно удивляло; мы не могли понять, когда же „служатъ“ всѣ эти господа, и пришли къ убѣжденію, что въ Италіи вообще, вѣрно, никто нигдѣ не „служитъ“. Это, очевидно, не принято, или же, можетъ быть, эти кондитерскія и площади замѣняютъ наши департаменты, въ виду пріятнаго климата, дѣйствующіе подъ открытымъ небомъ!

Чего въ городѣ очень мало—это экипажей, толпа почти исключительно пѣшеходная, въ крайнемъ случаѣ, довольствующаяся электрическимъ трамваемъ. Да въ этихъ узкихъ кривыхъ улицахъ, по большинству которыхъ не проложено даже тротуаровъ для пѣшеходовъ, это и естественно. Запружающая ихъ толпа идетъ прямо по срединѣ ихъ, и когда появляется какой-нибудь экипажъ, а тѣмъ болѣе омнибусъ, кучеръ не переставая хлопаетъ бичемъ для предостереженія, а всѣ прохожіе жмутся къ стѣнамъ, потому что одинъ такой омнибусъ уже загромождаетъ всю улицу. Самый оригинальный способъ передвиженія примѣняется къ перевозкѣ тяжестей. Лошадей запрягаютъ цугомъ, иногда до 8 штукъ подъ рядъ, и онѣ, слушаясь малѣйшаго

окрика проводника, привычныя и, повидимому, не слишкомъ напрягающіяся подъ тяжестью, занимаютъ своей длинной вереницей иногда всю улицу и представляютъ тоже очень типичную картинку мѣстныхъ обычаевъ.

Рѣдко гдѣ можно встрѣтить въ толпѣ такъ много красивыхъ лицъ, какъ въ Генуѣ. Особенно хороши дѣти и юная молодежь. Дѣти—это прямо какіе-то ангелы, невольно вырывающіе у васъ крикъ восхищенія. Генуэзцы это понимаютъ и кокетничаютъ ими другъ передъ другомъ, одѣвая ихъ очень нарядно, въ большія, красивыя шляпы и разныя розовыя, бѣлыя и голубыя платья, въ которыхъ они похожи на какіе-то крупные, прелестные цвѣты.

Это—не трогательное, полное нѣжной заботы, отношеніе къ нимъ нѣмцевъ, подкупавшее насъ въ Берлинѣ; это—именно сознательное кокетство ими, изъ котораго старшіе для собственнаго удовольствія дѣлаютъ родъ какого-то спорта и выставки, врядъ ли отзывающейся благотворно на воспріимчивыхъ дѣтскихъ натурахъ. Среди юношей и молодыхъ дѣвушекъ (которыхъ, кстати сказать, держатъ очень строго и однѣхъ, безъ провожатыхъ, не выпускаютъ никуда, даже въ небогатыхъ семьяхъ средней руки) тоже попадается не мало прелестныхъ головокъ, но среди женщинъ ихъ уже гораздо меньше. Онѣ быстро полнѣютъ, распускаются и грубѣютъ, и послѣ

30 лѣтъ и мужчины, и женщины начинаютъ сильно жирѣть, расползаться и утрачивать свою красоту. Старики же, въ большинствѣ случаевъ, прямо безобразны и производятъ почти отталкивающее впечатлѣніе. Въ этомъ народѣ, въ лицахъ котораго съ молоду больше красоты, чѣмъ интеллигентности и одухотворенности—рѣдко сохраняется та благообразная и благородная старческая красота, которая нерѣдко встрѣчается и такъ привлекаетъ къ себѣ, въ старикахъ сѣверныхъ странъ. Даже движенія ихъ изъ пластичныхъ, полныхъ безсознательной граціи въ молодости, становятся рѣзкими и угловатыми, подъ старость, а голоса, не исключая и женскихъ, грубыми и сиплыми, совсѣмъ не гармонирующими съ чудными звуками италіанскаго языка.

Если молодежь является представителями физической силы и красоты народа, то старики должны отражать въ себѣ духовную сторону его, и вотъ, наблюдая ихъ въ Италіи, вы начинаете слегка разочаровываться въ этомъ народѣ, который въ своей молодой массѣ невольно очаровываетъ васъ.

Вся порочная и нечистая сторона этихъ натуръ, по существу, довольно невысокихъ и грубоваточувственныхъ, съ годами проступаетъ яснѣе, а въ старости, не скрашиваемой и не смягчаемой больше внѣшней красотой, обнаруживается уже во всей своей неприглядной откровенности.

Кто еще отличается здѣсь необыкновенной красотой—это кормилицы! Можно подумать, что ихъ нарочно выбираютъ между самыми красивыми женщинами страны; въ своихъ простыхъ черныхъ плащахъ (родъ нашихъ длинныхъ флотскихъ пелеринъ), изящно падающихъ съ плечъ, и въ прелестныхъ головныхъ уборахъ изъ широкихъ лентъ краснаго, розоваго или голубого цвѣта, пышнымъ вѣнкомъ окаймляющихъ эти головки, онѣ чуть не всѣ поголовно кажутся настоящими красавицами. Любуясь ими, вы начинаете понимать пристрастіе старинныхъ италіанскихъ мастеровъ къ изображенію мадоннъ съ младенцами на рукахъ.

Они черпали ихъ прообразъ прямо изъ жизни, облекая его только въ божественную идею, и дѣйствительно, трудно представить себѣ что-нибудь прекраснѣе молодой италіанской матери съ ребенкомъ на рукахъ. Въ большинствѣ случаевъ онѣ представляютъ такую художественную картину, которая сама собой просится на полотно и невольно вдохновляетъ художника.

Эти кормилицы и оригинальныя сестры милосердія, вмѣстѣ съ монахинями различныхъ орденовъ, придаютъ, можетъ быть, главную характерность здѣшней толпѣ. Одѣяніе монахинь часто совсѣмъ не вяжется съ нашимъ представленіемъ о нихъ въ обычныхъ черныхъ рясахъ. Италіанцы даже и ему сумѣли придать своеобразную худо-

жественность. Есть монахини совсѣмъ сѣрыя, есть — фіолетовыя и есть даже ярко-краснаго цвѣта. Эти самыя оригинальныя и живописныя; красный цвѣтъ какъ нельзя лучше подходитъ къ ихъ смуглымъ лицамъ (часто совсѣмъ молодымъ) и жгучимъ глазамъ. Но у всѣхъ непремѣнно на головахъ бѣлые съ разлетающимися лопастями чепцы и длинныя четки въ рукахъ. Духовенства въ Генуѣ, вообще, много. На каждомъ шагу попадаются типичныя черныя фигуры патеровъ, въ широкополыхъ шляпахъ, съ физіономіями похожими больше... на опереточныхъ актеровъ, изображающихъ ихъ, чѣмъ на аскетическихъ служителей церкви. Эти хорошо упитанныя, крупныя фигуры, съ лоснящимися красными и полными лицами, мало говорятъ о постѣ и воздержаніи, проповѣдуемыхъ ими для другихъ. Народъ говорятъ, не долюбливаетъ ихъ, но какъ добрый католикъ въ своемъ цѣломъ—довольно добродушно подчиняется имъ, и клерикальная партія очень сильна въ городѣ и пользуется большимъ вліяніемъ. Она вмѣшивается не только въ общественныя дѣла (напримѣръ, театры и увеселительныя заведенія, среди которыхъ она изгнала совсѣмъ оперетку и позакрывала всѣ кафе-шантаны), но даже въ частную жизнь гражданъ, зорко слѣдя за ними, и не выпуская ихъ и въ ней изъ-подъ своей власти. Зато въ контрастъ этимъ рослымъ и крѣпкимъ фигурамъ, италіанское войско пора-

жаетъ своей тщедушностью и мелкотой, походя больше на какихъ-то игрушечныхъ солдатиковъ или на мальчиковъ-подростковъ, играющихъ въ нихъ, чѣмъ на взрослыхъ и сильныхъ людей, призванныхъ „защищать отечество“. Какъ-то не вѣрится въ серьезность такого игрушечнаго войска и въ то, чтобы оно могло сильно устрашать непріятеля! Невольно припоминаются ихъ послѣдніе неудачные походы въ Абиссинію и тутъ находишь имъ объясненіе.

Но надо разсказать также и о старинныхъ генуэзскихъ дворцахъ,—они стоятъ того. Кстати же мы жили на Via Garibaldi, сплошь состоящей изъ нихъ и такой, въ сущности, характерной и старой, что имя, навязанное ей точно насильно, и слишкомъ новое еще въ исторіи, рѣшительно не идетъ къ ней. Такъ и хочется перекрестить ее опять въ Via Doria, по имени одного изъ лучшихъ дворцовъ, высящихся на ней. Увы, всѣ эти знаменитые когда-то дворцы давно уже утратили прежнее значеніе и пережили свои царственныя времена. Теперь,—ироніей судьбы,—въ лучшихъ случаяхъ въ нихъ помѣщаются государственныя учрежденія въ родѣ муниципалитета, какъ напримѣръ, въ томъ же дворцѣ Doria, и они обречены въ самой сердцевинѣ своей—принимать тотъ самый plebs, который когда-то такъ презирали созидавшіе ихъ владыки. Но и это еще хорошо, а то, въ большинствѣ случаевъ, въ

нихъ помѣщаются разныя конторы, лавки, магазины и частныя квартиры, раздѣленныя на нѣсколько комнатъ каждая, разныхъ неизвѣстныхъ лицъ, которыя развѣшиваютъ на ихъ царственныхъ галереяхъ и верандахъ—свое мокрое бѣлье.

Мрачно стоятъ теперь эти грандіозныя гордыни среднихъ вѣковъ и точно о чемъ-то сурово и тяжко задумались.

Они одни только не улыбаются подъ этимъ радостнымъ небомъ, подъ которымъ все смѣется, и желѣзныя рѣшетки на ихъ окнахъ кажутся опущенными вѣками глазъ, не желающими смотрѣть на окружающее.

Ихъ невольно одухотворяешь во что-то живое, чувствующее и мыслящее, и кажется, что они, гордые прежней славой и могуществомъ, навѣкъ исчезнувшими теперь, чувствуютъ свое униженіе и не могутъ примириться съ нимъ. Ревниво и гордо хранятъ они свою исторію, свои легенды и тайны, и, уйдя въ воспоминанія прошлаго, остаются чуждыми, холодными и непріязненными къ своему настоящему, являющемуся только позоромъ и оскорбленіемъ ихъ благородныхъ стѣнъ.

Мы осмотрѣли почти всѣ. Но въ большинствѣ изъ нихъ, для осмотра публики, оставлено только двѣ-три залы, въ которыхъ съ трудомъ уцѣлѣли остатки прежняго величія и

богатствъ, когда-то въ избыткѣ переполнявшихъ ихъ.

Остальное все роздано подъ частный наемъ. И какъ-то странно, дѣйствительно, видѣть на ихъ историческихъ дверяхъ—визитныя карточки какихъ-то Смитовъ и Симоновъ (все больше почему-то иностранцы), занимающихъ тамъ квартиры, и объявленія разныхъ конторъ, расклеенныя по мраморнымъ стѣнамъ, на которыхъ до сихъ поръ сохранились еще мѣстами драгоцѣнныя фрески. Они, дѣйствительно, кажутся какими-то пощечинами этимъ старымъ великанамъ и вся эта толпа, случайно приходящая сюда по своимъ дѣламъ, совершенно равнодушная къ ихъ прошлому и красотѣ, безцеремонно плюющая на знаменитые полы и оставляющая грязные слѣды ногъ своихъ на ихъ чудныхъ лѣстницахъ,—точно дѣйствительно наноситъ имъ какое-то тяжкое оскорбленіе, каждымъ своимъ плевкомъ и грязнымъ слѣдомъ. И какъ не вяжется она съ ними—эта современная, сѣрая, тусклая толпа въ своихъ „пиджакахъ и котелкахъ“,— какъ рѣжетъ глаза полнымъ несоотвѣтствіемъ съ ними! Такъ и хочется изгнать ее и хоть мысленно наполнить ихъ опять характерными средневѣковыми фигурами, въ ихъ живописныхъ костюмахъ, гармонировавшихъ съ ними уже самими своими образами.

Когда вы смотрите на одни эти входы, съ массивными, желѣзными воротами, часто замѣ-

чательной работы, точно приноровленные для прохожденія въ нихъ цѣлыхъ процессій, на эти великолѣпныя лѣстницы, воплощающія въ себѣ цѣлыя идеи мыслителей и художниковъ, на эту толщину ихъ стѣнъ, похожихъ на бойницы, и мрачные, потайные ходы, просверливающіе ихъ, на эти грандіозные залы, подъ сводами которыхъ теряется звукъ голосовъ, и эти чудные сады, гордо повисшіе гдѣ-то высоко въ воздухѣ, надъ землею, съ которой ихъ владѣльцы какъ бы не желали сообщаться—вы невольно чувствуете, что люди, когда-то создавшіе ихъ и жившіе въ нихъ, были какими-то иными, чѣмъ стали мы. Это должны были быть титаны страстей, пороковъ и добродѣтелей, во столько же разъ болѣе крупныхъ и сильныхъ, чѣмъ наши, во сколько ихъ дворцы величественнѣе и грандіознѣе тѣхъ маленькихъ комнатъ, что вполнѣ удовлетворяютъ теперь насъ. Въ ихъ страстяхъ и порокахъ, не знавшихъ ограниченій, должно было быть нѣчто уже демоническое и они жили здѣсь по своимъ великолѣпнымъ дворцамъ, эти надменные и властолюбивые герцоги, со своими прекрасными и коварными подругами,—холодные къ міру, равнодушные къ чужому горю и страданію, жестокіе въ мести и ненависти, спокойные въ преступленіи и презирающіе все, что не было властно, сильно и красиво. А гдѣ-то внизу, у ногъ ихъ, прямо непосредственно къ ихъ дворцамъ, прие-

гали темныя, узкія улички, идеальныя для ночныхъ убійствъ и грабежей, гдѣ кипѣлъ народъ и свирѣпствовали чума и голодъ, и гдѣ только одно благотворное солнце, свѣтившее одинаково для всѣхъ, могло еще смягчать нравы и примирять съ существованіемъ.

Набѣгавшись за цѣлый день по этимъ дворцамъ и разнымъ закоулкамъ милой старой Генуи, мы возвращались домой усталыя, измученныя, но счастливыя и довольныя, въ самомъ пріятномъ настроеніи, сознавая, что видѣли нѣчто, чего не можемъ видѣть каждый день и вбирали въ себя такія впечатлѣнія, которыя надолго еще останутся въ памяти и на многое дадутъ намъ матеріала.

А дома тоже было недурно. Мы очень удачно попали въ смыслѣ отеля, а главное горничной, что далеко не безважно въ путешествіяхъ, если есть нѣкоторая привычка имѣть порядочную дома. Это была уже немолодая, но, вопреки здѣшнему обыкновенію, сохранившая еще остатки былой красоты, ловкая, умная и въ то же время добродушная италіанка. Ее звали Анунціата, что почему-то особенно нравилось намъ, и она служила намъ, точно бы мы были ея постоянными господами и ходила за нами, какъ за маленькими дѣтьми. Вѣроятно, мы также нравились ей, какъ она намъ, а въ италіанскихъ сердцахъ и симпа-

тія и выраженіе ее проявляется быстро и выразительно. И, вотъ, когда мы возвращались вечеромъ, послѣ обѣда домой, у насъ всегда уже топился каминъ, постели были постланы и нагрѣты, а на столѣ приготовленъ нашъ русскій чай. Вскорѣ являлась и сама Анунціата со своими разсказами, на очень сносномъ французскомъ языкѣ, и тѣми привѣтливо-фамильярными заботами и ласками, которыя у себя дома, въ своей прислугѣ, по нелогичности привычекъ, показались бы, можетъ быть, уже нѣсколько безцеремонными, но здѣсь, оторванныя отъ дома и всѣхъ близкихъ, мы были рады всякой ласкѣ; къ тому же наша Анунціата какъ бы воплощала для насъ часть того италіанскаго народа, что такъ интересовалъ насъ во всѣхъ своихъ нравахъ и обычаяхъ, о которыхъ она охотно разсказывала намъ.

Я помню, какъ она зашла къ намъ поздравить насъ, въ полночь подъ ихъ Новый годъ. Чужой Новый годъ, въ чужой сторонѣ не вызываетъ, конечно, того чувства, какъ свой, у себя дома, среди своихъ, но все-таки нѣсколько волнуетъ. Точно присутствуешь на чужомъ, но торжественномъ богослуженіи, въ чужой церкви. И вотъ, въ тотъ моментъ, когда на старыхъ генуэзскихъ башняхъ пробила полночь и въ тотъ же мигъ заблаговѣстили (точно у насъ), отозвавшись имъ, колокола всѣхъ церквей, а въ порту всѣ стоявшія суда вдругъ загудѣли и заревѣли сотнями

голосовъ, намъ, одиноко сидѣвшимъ въ своихъ комнаткахъ, вдругъ стало какъ-то грустно и захотѣлось хоть на мигъ перелетѣть домой, къ своимъ близкимъ и милымъ,—и когда вошла неожиданно наша Анунціата со стаканомъ вина и поздравила насъ съ своей добродушной, веселой манерой,—намъ разомъ стало какъ-то уютнѣе и отраднѣе. Точно она принесла намъ съ собой и уголокъ этого милаго далекаго „дома", по которому невольно сжимается порою сердце, несмотря на всю окружающую красоту.

Но надо же разсказать и о театрѣ, въ которомъ мы, конечно, побывали.

Мы выбрали Theatro Paganini и отправились туда, дождавшись интересной пьесы. Театръ очень высокъ и красивъ, и хоть и разсчитанъ на болѣе взыскательную и избранную публику, въ соотвѣтствіи со вкусами которой и устроенъ, тѣмъ не менѣе мѣста въ немъ непомѣрно дешевы. За наши кресла въ третьемъ ряду, вмѣстѣ съ комиссіей портье, мы заплатили всего по пяти франковъ, а это было еще первое представленіе новой пьесы.

Съ самаго же нашего вступленія въ него мы нѣсколько были озадачены. Несмотря на его „аристократичность" такъ сказать, въ зрительную залу всѣ входятъ, не только въ шляпахъ, подвергающихся у насъ такому гоненію, но даже въ пальто, при томъ, съ зонтиками и палками

въ рукахъ! Никакихъ вѣшалокъ въ коридорахъ, не полагается. Желающимъ предоставляется свободный выборъ—или сидѣть во всемъ, какъ они пришли, или сложить все на свой же стулъ, что къ большому удобству, конечно, не служитъ.

Собираются очень поздно. Мы пришли къ началу, назначенному въ половинѣ девятаго, и думали, что будетъ пустота потому, что никого не было. Однако въ началѣ десятаго часа все заполнилось. Шла патріотическая пьеса изъ временъ освобожденія Италіи посвященная памяти двухъ наиболѣе любимыхъ національныхъ героевъ—Гарибальди и Массини. На сценѣ ихъ нѣтъ, но имена ихъ все время упоминаются и электризуютъ публику, вообще очень впечатлительную и увлекающуюся. Пьеса, видимо, нравится, вѣроятно, уже потому, что относится къ тому періоду изъ новой исторіи Италіи, которымъ интересуется и гордится каждый италіанецъ. Слушаютъ внимательно и сосредоточенно, но отношеніе къ актерамъ, особенно на верхахъ, очень своеобразно. Всѣмъ исполнителямъ патріотическихъ ролей горячо аплодируютъ, особенно послѣ произнесенія жаркихъ клятвъ и монологовъ, на которые авторъ, знающій, вѣроятно, хорошо свою аудиторію, не поскупился. Злополучнымъ же исполнителямъ австрійскихъ приверженцевъ отчаянно шикаютъ и даже свистятъ. Входитъ, напримѣръ, жандармскій офицеръ, изо-

бражающій италіанца на австрійской службѣ и явившійся арестовать зачинщиковъ заговора, онъ буквально не успѣваетъ еще открыть рта, какъ ему уже свистятъ, кричатъ „баста“ и еще что-то въ этомъ родѣ и такъ упорно и энергично, что всю свою роль онъ проводитъ подъ этимъ непрерывнымъ акомпаниментомъ.

Когда онъ уходитъ, наконецъ, проговоривъ и продѣлавъ все, къ чему приговорилъ его жестокій авторъ, его провожаютъ градомъ свистковъ и криковъ въ видѣ разныхъ остротъ и насмѣшекъ.

Но ни актеровъ, ни остальную публику, это, повидимому, не смущаетъ. Къ этому всѣ привыкли и находятъ вполнѣ естественнымъ и вкоренившимся въ обычные нравы.

Свистятъ, впрочемъ, не только актерамъ, но и для собственнаго удовольствія. Во время антрактовъ нѣкоторые высвистываютъ цѣлыя аріи, охотно подхватываемыя другими, и которымъ тоже то аплодируютъ, то шикаютъ, то просто оставляютъ безъ вниманія. Но продѣлываютъ все это исключительно только на верхахъ. Тамъ вообще не стѣсняются. Громко разговариваютъ, дѣлаютъ замѣчанія на весь театръ и перекликаются между собою такъ же непринужденно и пріятельски, какъ и на своихъ площадяхъ. Какая-то молодая мамаша, вѣроятно, обожающая театръ, но не имѣющая никого, кому бы могла поручить своего грудного младенца, принесла его съ

собой, не устоявъ предъ такимъ сильнымъ искушеніемъ, какъ новая патріотическая пьеса. Но младенецъ, еще совершенно равнодушный и къ искусству и къ патріотизму, чѣмъ-то недоволенъ и разражается вдругъ отчаяннымъ плачемъ къ общей потѣхѣ всей залы. Къ счастью, это происходитъ въ антрактѣ; всѣ приходятъ въ восторгъ, хохочутъ, аплодируютъ и даже подражаютъ ему, благодаря чему, образуется вдругъ адскій концертъ.

Партеръ же ведетъ себя спокойно и европейски сдержанно. Въ немъ происходитъ все то же, что и повсюду. Также лорнируютъ другъ друга, также наносятъ другъ другу визиты, также кокетничаютъ и ухаживаютъ, и также разносятъ, повидимому, одни отъ другихъ свѣжія новости. Разница только въ томъ, что большинство публики, которой некого посѣщать и занимать, вынимаетъ изъ кармановъ газеты и углубляется въ чтеніе ихъ все время, пока продолжается антрактъ. Впрочемъ, когда наверху происходитъ что-нибудь ужъ очень интересное, въ родѣ инцидента съ младенцемъ, въ партерѣ происходитъ невольное движеніе и онъ не безъ зависти поглядываетъ на своихъ „высшихъ собратьевъ“, въ глубинѣ души видимо готовый примкнуть къ нимъ въ свою очередь. Нѣкоторые болѣе горячіе даже не выдерживаютъ и, забывъ на мгновеніе „европейскую сдержанность“, вдругъ увлекаются и под-

хватываютъ чье-нибудь мяуканье или остроту. Но чрезъ минуту опять успокаиваются. Въ горячихъ мѣстахъ пьесы тоже всѣ принимаютъ непосредственное участіе въ дѣйствіи. Разгорячаются не только актеры и публика, жарче чѣмъ когда-либо выражающая свое одобреніе и неодобреніе — но даже и суфлеръ, который тоже вдругъ „входитъ“ въ роли всѣхъ исполнителей. По крайней мѣрѣ голосъ его начинаетъ раздаваться чуть не громче ихъ всѣхъ, руки машутъ такъ энергично, что поминутно мелькаютъ въ воздухѣ, то съ одной, то съ другой стороны его будки, а мгновеніями показывается даже и вся голова съ страшнымъ увлеченіемъ и мимикой исполняющая свой долгъ „суфлированія“. Но это тоже никого не шокируетъ и никому не мѣшаетъ. Вѣроятно каждый понимаетъ, что „иначе нельзя“ и что и на его мѣстѣ самъ бы увлекался бы точно также.

Играетъ между прочимъ пресловутая Тинади-Лоренцо, которую мнѣ все не удавалось увидѣть у насъ во время ея гастролей. Она сильно располнѣла, что такъ рѣдко случается между артистками, слишкомъ живущими нервами, но безспорно красива здоровой, крупной нѣсколько животной красотой. И вообще она гораздо больше похожа на хорошо упитанную добродушную помѣщицу черноземныхъ губерній и при томъ еще прежнихъ временъ (чему помогаютъ кстати ея костюмъ и прическа начала пятидесятыхъ го-

довъ), чѣмъ на италіанскую артистку. Даже и разговариваетъ она въ томъ же родѣ съ такими же интонаціями какъ разговаривали и тѣ, сидя у себя по утру въ спальнѣ въ свободныхъ, домашнихъ капотахъ, не первой чистоты.

Но въ общемъ, она, конечно, очень недурная актриса и видимо нравится своимъ соотечественникамъ, также какъ нравилась многимъ и у насъ.

Въ этой странѣ, подарившей міру такихъ великихъ артистовъ, какъ Росси, Сальвини, Ристори и Дузе, трудно не сдѣлаться хорошимъ актеромъ, разъ посвятивъ себя театру и имѣя хоть какія-нибудь данныя. Геній такихъ великихъ учителей не могъ пройти безслѣдно, и невольно оставилъ отпечатокъ своей школы на тѣхъ, кто шелъ за ними.

Если колыбель театра—Греція, то его воспріемница и великая воспитательница была несомнѣнно Италія. Она приняла это дитя Греціи въ свои руки и, выростивъ и развивъ его почти до совершенства, въ свой чередъ передала потомъ Франціи, наложившей на него, уже послѣдніе, блестящіе штрихи.

Изъ театра мы выходимъ только въ концѣ перваго часа! На улицахъ къ нашему изумленію ни одного извозчика. Не видно даже и собственныхъ экипажей, которые казалось бы, должны

были пріѣхать за тѣми элегантными дамами, что сидѣли въ ложахъ.

Всѣ идутъ пѣшкомъ, одной общей толпой постепенно рѣдѣющей по прилегаемымъ улицамъ,—веселой, шумной и говорливой.

То тутъ, то тамъ мелькаютъ огоньки сигаръ, слышны шутки и смѣхъ, напѣваются пѣсенки, эти милыя, вѣчно звучащія во всей Италіи пѣсни, безъ которыхъ даже трудно представить ее себѣ.

Идемъ вмѣстѣ со всѣми, совершенно спокойно, несмотря на поздній часъ и чужой городъ, въ которомъ даже плохо еще оріентируемся—и мы.

Это вполнѣ безопасно, уже потому что сама эта толпа какъ бы сама по себѣ охраняетъ каждаго, кто примкнулъ къ ней, и если бы кому-нибудь вздумалось бы какъ-нибудь задѣть или пристать къ незнакомымъ женщинамъ—всѣ остальные немедленно бы вступились. Стоило бы только громко обратиться за этимъ. Но конечно въ томъ не представляется ни малѣйшей надобности и мы самымъ благополучнымъ образомъ доходимъ домой.

Я вообще нахожу, что путешествовать двумъ женщинамъ однѣмъ, не только не труднѣе и не опаснѣе, чѣмъ съ мужчиной, но по-своему даже легче и удобнѣе. Всѣ какъ бы стараются притти вамъ на помощь и облегчить чѣмъ возможно ваше положеніе.

Это особенно чувствуется въ простомъ народѣ;

среди него вы къ любому можете обратиться со всѣмъ, что вамъ нужно, и только въ рѣдкихъ случаяхъ будете обмануты. Въ простомъ человѣкѣ, при видѣ женщины одинокой и беззащитной (какъ это ему кажется) какъ бы просыпается тотъ инстинктъ прирожденнаго ея защитника, который въ большей или меньшей степени есть въ каждомъ мужчинѣ.

По крайней мѣрѣ, гдѣ мы ни путешествовали, но всѣ эти портье, швейцары, носильщики и даже извозчики служили намъ не только не хуже, но именно лучше чѣмъ другимъ, всегда готовы были дать какія-нибудь полезныя свѣдѣнія и указанія, заступиться за насъ въ случаѣ какихъ нибудь споровъ и недоразумѣній, и вообще такъ или иначе „брали насъ подъ свое покровительство", какъ мы шутя это называли.

Иногда это выходило даже трогательно. Я помню, какъ одинъ извозчикъ въ Марсели не позволилъ намъ войти выпить чашку кофе въ тотъ ресторанъ, который приглянулся намъ. Старикъ воспротивился этому такъ рѣшительно, что мы поневолѣ должны были уступить ему и отправиться по его настоянію въ другой.

— L'autre n'était pas bon pour vous!—сказалъ онъ намъ въ поясненіе,—тамъ могли васъ обидѣть, а здѣсь вамъ будетъ спокойно!—Ну, развѣ это не трогательно, а вѣдь онъ видѣлъ насъ въ первый и въ послѣдній разъ и, въ сущности, какое ему

было до насъ дѣло! Это свойство въ простыхъ людяхъ тѣмъ цѣннѣе, что въ немъ къ тому же нѣтъ ничего преднамѣреннаго и корыстнаго, потому, что въ лучшемъ случаѣ, на что онъ можетъ разсчитывать развѣ только на маленькій „pour boir“, который вы сами же охотно дадите ему.

Въ этомъ отношеніи ихъ интеллигентные собратья являются печальною противоположностью. Въ каждой путешествующей одиноко (безъ мужчины) женщинѣ—они склонны видѣть искательницу приключеній или во всякомъ случаѣ нѣчто въ этомъ родѣ.

Не дай Богъ обратиться къ нимъ съ какимъ-нибудь самымъ простымъ вопросомъ или позволить снять сверху вашъ чемоданъ. Знакомство уже завязано и какими бы великодушными и отеческими попеченіями васъ не окружали бы, съ какимъ серьезнымъ и джентельменскимъ видомъ не предлагались бы они вамъ—въ глубинѣ всѣхъ этихъ милыхъ заботъ и услугъ всегда кроется одна и та же надежда на легкую добычу.

И вотъ, когда научаешься цѣнить нашихъ русскихъ мужчинъ, поневолѣ отдавая имъ справедливость. Быть можетъ, только они одни способны смотрѣть на каждую женщину прежде всего какъ на порядочную женщину и относиться къ ней просто какъ къ человѣку и товарищу, ничего за это отъ нея не ожидая и не требуя.

Есть, впрочемъ, еще и другое исключеніе—это англичане! О, что касается ихъ—то они всегда готовы допустить полную порядочность женщины, при какихъ бы условіяхъ ни встрѣтили ее, но лишь въ томъ случаѣ, когда она... англичанка! Другихъ же они просто не замѣчаютъ, относясь къ нимъ почти также, какъ къ пустому пространству. Долю нѣкотораго вниманія они удѣляютъ подчасъ еще француженкамъ, хотя, повидимому, ужъ съ нѣсколько иной точки зрѣнія, чѣмъ своимъ соотечественницамъ, но какъ только они убѣждаются, что вы ни то и ни другое, вы разомъ перестаете существовать для нихъ; тогда вы можете хоть надорваться при нихъ, поднимая и укладывая какія-нибудь тяжелыя вещи — они даже не пошевельнутся, а если случайно толкнутъ васъ, то отнесутся къ этому почти также, какъ если бы толкнули дверь или стулъ, предъ которыми не стоитъ, конечно, извиняться.

Но я, однако, отвлеклась. Вернемся лучше опять въ Геную. Мы окончили осмотръ ея посѣщеніемъ знаменитаго Campo-Santo, не побывать на которомъ невозможно, разъ уже будучи въ ней.

У меня вообще есть маленькая слабость къ кладбищамъ, а тѣмъ болѣе италіанскимъ, которыя часто представляютъ собой настоящіе художественные музеи. Я видѣла ихъ уже нѣсколько, когда была въ Венеціи, Миланѣ и Флоренціи и, хотя съ тѣхъ поръ прошло нѣсколько лѣтъ, но

еще до сихъ поръ живо сохранилось то впечатлѣніе, которое я вынесла отъ нихъ тогда, и отъ котораго невольно сжималось сердце, несмотря на всю ихъ красоту — впечатлѣніе того страшнаго неравенства между богатыми и бѣдными, которое нигдѣ, кажется, не чувствуется такъ сильно и наглядно, какъ тамъ, и практикуется съ откровенностью, доходящею уже до цинизма. Рядомъ съ роскошнымъ отдѣломъ для богатыхъ, утопающимъ въ бронзѣ, мраморѣ и цвѣтахъ, гдѣ каждый памятникъ въ своемъ родѣ чуть не драгоцѣнное произведеніе искусства, помѣщается непосредственно тутъ же и отдѣлъ для бѣдныхъ. Послѣдній представляетъ собой просто широкій квадратъ, на которомъ менѣе чѣмъ въ аршинномъ разстояніи другъ отъ друга стоятъ совершенно одинаковыя, каменныя (въ родѣ тѣхъ, что ставятъ у насъ передъ панелями) тумбочки, съ начертанными на нихъ черной краской нумерами. Вотъ и все!

Ни холма, ни креста, ни дерева, просто гладкая поверхность, усѣянная этими занумерованными тумбами! № 901, № 1142 и т. д. У бѣдняка отнято даже послѣднее утѣшеніе и право притти помолиться и поплакать надъ дорогой могилой. Ее безцеремонно стираютъ съ лица земли, и сосѣдство роскошныхъ мавзолеевъ богачей, торжествующихъ и послѣ смерти, является чѣмъ-то точно издѣвающимся и оскорбительнымъ. О, я

думаю, что такія кладбища прибавили Италіи не одно озлобленное сердце и умъ, внутреннее чувство которыхъ здѣсь невольно оскорблялось и возмущалось.

На генуэзскомъ Campo-Santo этого нѣтъ. Не знаю, можетъ-быть, это кладбище исключительно богатыхъ людей, гдѣ даже скромные отдѣлы могутъ быть занимаемы только людьми вполнѣ обезпеченными, но тѣ печальныя могилы, что на миланскомъ отмѣчены лишь нумерованными тумбами, здѣсь утопаютъ всѣ въ розахъ, чуть не сплошь завившихъ ихъ своими цѣпкими, веселыми побѣгами, полными яркихъ цвѣтовъ. Среди нихъ бѣлѣютъ мраморные (тоже одинаковые у всѣхъ) кресты, и все это, залитое солнцемъ и засыпанное розами, цвѣтущими даже въ январѣ, когда у насъ снѣга и вьюги, создаетъ картину почти радостную. Кругомъ амфитеатромъ раскинулись прелестныя горы, подернутыя прозрачной, голубою дымкой, и точно кольцомъ, со всѣхъ сторонъ замкнувшія кладбище. И невольно вспоминаются пушкинскія строки:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять...

Да, но знаменитую репутацію создали этому кладбищу, конечно, не чудныя горы, окружающія

его и не засыпавшія его розы, а великолѣпныя галлереи съ рядами мраморныхъ колоннъ, расходящихся въ обѣ стороны отъ его главнаго входа. Онѣ уступами пологихъ лѣстницъ спускаются одна за другой къ цвѣтущему саду могилъ, лежащему у подножія ихъ внизу, и чуть не сплошь уставлены великолѣпными памятниками.

Но странно, чѣмъ больше ходишь среди нихъ по этимъ пышнымъ галлереямъ, чѣмъ больше разглядываешь ихъ знаменитые статуи и монументы, тѣмъ больше какъ-то спускаешься на землю, куда-то въ мастерскія мраморныхъ издѣлій.

Смерть—это великая тайна, и, будучи ею, она превращаетъ въ нее и того, кого навсегда уноситъ отъ насъ, эта тайна полна своей мрачной красоты и печальной поэзіи. Здѣсь же совсѣмъ не чувствуешь ея. Покойники тутъ уже слишкомъ обнажены и точно выставлены напоказъ во всей своей прижизненной пошлости и мелочности.

Достигается же это, благодаря смѣшному и нелѣпому обычаю воспроизводить на памятникахъ умершихъ въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ они когда-то благополучно благоденствовали здѣсь. Всѣ эти застывшія фигуры разныхъ дамъ, утратившихъ красоту гораздо раньше, чѣмъ утратили потомъ жизнь, и одѣтыхъ сообразно модѣ, заставшей ихъ въ минуту смерти, со всѣми ея смѣшными проявленіями: съ турнюрами и претен-

ціозными прическами съ завитушками, и всѣ эти толстые, старые господа съ котелками на головахъ и въ крахмальныхъ рубашкахъ, тщательно выдѣланныхъ бездарными художниками, — являются такой кричащей дисгармоніей со смертью, что кажутся какой-то жалкой карикатурой и оскорбляющей профанаціей ея!

Нѣкоторые попадаются совсѣмъ курьезные. Напримѣръ, какой-то старый господинъ умеръ отъ злокачественнаго образованія на щекѣ, и любящая, но наивная вдова его, которой покойникъ былъ вѣрно дорогъ даже и въ этомъ обезображенномъ видѣ, такъ и увѣковѣчиваетъ его на мраморѣ вмѣстѣ съ наростомъ и трогательнымъ поясненіемъ, какая это была тяжелая болѣзнь и какъ страдалъ отъ нея покойный.

Потомъ существовала какая-то бѣдная торговка бубликами, всѣ мечты которой сосредоточивались на томъ, чтобы быть похороненной на Campo-Santo. И вотъ, старуха (умершая, на ея счастье, въ глубокой старости) всю свою жизнь усердно копитъ деньги на осуществленіе своей мечты и, наконецъ, достигаетъ ея къ полному, вѣроятно, восторгу, которымъ, къ сожалѣнію, не могла только вполнѣ насладиться.

Но художникъ, взявшійся воплотить ее въ мраморѣ, былъ или ужъ очень реальнаго направленія, или слегка поиронизировалъ надъ ея затѣей.

Онъ рѣшаетъ изобразить ее точь-въ-точь та-

кою, какъ она была: съ огромнымъ животомъ (очевидный признакъ водянки, отъ которой она и умерла), съ крючковатымъ носомъ и провалившимся отъ старости ртомъ, съ подотканнымъ подоломъ юбокъ, какъ она имѣла привычку подтыкать его на грязной площади своего рынка и... даже со связкой бубликовъ въ рукахъ!

Гдѣ-нибудь въ залахъ художественной выставки эта статуя старухи, такая жизненная и реальная, точно еще выкрикивающая громко свой товаръ, (уготовавшій ей мѣсто если не въ раю, то во всякомъ случаѣ среди избранныхъ Campo-Santo), была бы превосходна, но здѣсь она невольно рѣжетъ глаза и заставляетъ почти смѣяться, чего бѣдная, вѣроятно, вовсе не желала.

Да и все время вы не можете удержаться отъ невольнаго смѣха на этомъ странномъ кладбищѣ, хотя и прекрасно сознаете всю неумѣстность его и своихъ невольныхъ подтруниваній надъ тѣмъ, что, въ сущности, вовсе не смѣшно, и, сознавая это, вамъ остается только мысленно извиниться передъ всѣми этими бѣдными покойниками, роднымъ которыхъ приходитъ въ голову несчастная идея увѣковѣчивать ихъ въ такомъ неподходящемъ для „послѣдняго упокоенія“ видѣ!

Не знаю, можетъ-быть, во Флоренціи, этой настоящей студіи италіанской скульптуры, больше хорошихъ художниковъ, но тамъ, помню, нѣкоторые памятники, дѣйствительно, поражали своей

красотой и художественностью. Быть-можетъ, на это имѣетъ вліяніе отчасти и то, что тамъ выработался обычай, совсѣмъ противоположный генуэзскому: на могилахъ умершихъ мужей ихъ жены, по большей части, увѣковѣчиваютъ... самихъ себя, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда остаются еще молодыми и красивыми!

Эта мысль удачнѣе уже тѣмъ, что даетъ большій просторъ фантазіи художника и эстетичнѣе сама по себѣ.

У всѣхъ невольно запечатлѣваются въ памяти эти нѣжныя, но полныя экспрессіи женскія фигуры, то застывшія въ глубокой горести, то въ полномъ отчаяніи прильнувшія къ дорогой могилѣ, то беззвучно рыдающія надъ ней подъ своими длинными, вдовьими вуалями.

Можетъ-быть, въ жизни многія изъ нихъ давно уже утѣшились и даже успѣли повыходить вторично замужъ, и ихъ собственныя изображенія являются насмѣшкою надъ ними же самими, но мы этого не знаемъ, а то, что видимъ, красиво по идеѣ и художественно по выполненію, а главное, не идетъ въ разрѣзъ со смертью, дѣлая изъ нея какую-то смѣшную карикатуру, а вполнѣ гармонируетъ съ нею.

Такъ и на генуэзскомъ кладбищѣ хороши лишь тѣ памятники, которые являются или олицетвореніемъ смерти въ разныхъ аллегорическихъ фигурахъ ея, или даютъ изображеніе молодыхъ

женщинъ и дѣвушекъ, умершихъ рано, въ молодости, когда старость еще не успѣла подкрасться къ нимъ и разрушить ихъ еще раньше смерти.

Ранняя смерть трагична уже сама по себѣ. Въ ней есть что-то насильственное и жестокое со стороны природы, какъ бы совершающей какое-то убійство и преступленіе, тогда какъ въ старости она вполнѣ естественна и является мудрымъ закономъ ея. Оттого-то и наглядное изображеніе ея молодыхъ жертвъ невольно трогаетъ и заставляетъ задумываться... вы невольно уносите ихъ въ своемъ сердцѣ и сохраняете въ памяти, быть-можетъ, безсознательно протестуя противъ жестокости судьбы, не пожелавшей сохранить ихъ для жизни и позволившей такъ рано унести ихъ смерти.

Осмотромъ Campo-Santo мы покончили съ нашимъ осмотромъ Генуи вообще не потому, чтобы больше нечего было осматривать въ ней,—о, нѣтъ, конечно, нашлось бы, но у насъ уже не было времени. Надо было ѣхать дальше,—еще ближе къ солнцу, хотя, по нашему мнѣнію, его вполнѣ было достаточно и здѣсь...

И вотъ, простившись и расцѣловавшись съ нашей Анунціатой, которая чуть не плакала, провожая насъ, мы надолго, а можетъ-быть, уже и навсегда простились съ милой Генуей, про кото-

рую такъ и хочется сказать „съ нашей“ Генуей, хотя мы прожили съ ней всего 6 дней! Но и 6 дней могутъ иногда значить въ жизни очень много и надолго остаться въ ней прекраснымъ или горькимъ воспоминаніемъ...

Когда мы ѣхали сюда, я не собиралась описывать Ривьеры, считая, что она и такъ уже описывалась сотни разъ, но попавъ сюда и проживъ здѣсь гораздо дольше чѣмъ сбирались, невольно приглядываясь и наблюдая ее и здѣшніе нравы и толпу такую характерную и космополитическую какъ можетъ быть нигдѣ—не могу удержаться чтобы совсѣмъ не коснуться ее. Да и какъ промолчать объ этой знаменитой côte d'Azur, этой настоящей странѣ солнца, намъ, поѣхавшимъ искать его!

По своей красотѣ—это какая-то сказка природы, мечта ея, вся прозрачная и голубая отъ синевы подернувшаго ее воздуха, вся залитая ослѣпительнымъ свѣтомъ и полная блестящихъ красокъ и яркихъ цвѣтовъ.

Создавая ее, природа точно праздновала праздникъ и дала полный просторъ своей фантазіи и чувству красоты, щедро разсыпавъ здѣсь всѣ лучшіе дары свои. Она развернула у ногъ ея голубое безконечное море, съ нѣжной лаской омывающее берега ея, точно охлаждая ихъ отъ зноя.

Его цвѣтъ такъ ярокъ и необыкновененъ въ

своей голубизнѣ, что оно кажется опрокинутымъ небомъ, сверкающимъ подъ лучами заливающаго его солнца. Бѣлою пѣною разбивается оно о прибрежные камни, острыми зубцами выходящими изъ него, и разлетается вокругъ мильонами перламутровыхъ брызгъ, похожихъ на крупный жемчугъ, которымъ, точно шаля и играя, бросаютъ цѣлыми пригоршнями, высоко взлетающими въ воздухѣ, притаившіеся въ холодной, прозрачной глубинѣ его наяды и разные духи и боги подводнаго царства. Она окружила ее цѣпью высокихъ горъ, чтобы защитить свою красавицу отъ холоднаго дуновенія сѣвера, и такихъ прелестныхъ и воздушныхъ въ очертаніяхъ своихъ, что порой, въ вечернемъ или утреннемъ отблескѣ лучей, онѣ кажутся почти прозрачными и скорѣй набросанными на облакахъ и небѣ чьей-то легкою и геніальною кистью, чѣмъ обыкновенными горами изъ глины и камней.

Она подарила ей всѣ цвѣты свои, самые прекрасные, какіе только когда-либо создавала, и они розовые, лиловые, бѣлые, желтые, воплощающіе въ себѣ всѣ яркія краски міра, цѣлыми массами вырываются изъ каждой расщелины въ скалѣ, изъ каждаго отверстія въ стѣнѣ и гигантскими букетами, а порой и цѣлыми каскадами, спускаются по нимъ внизъ, точно грѣясь въ истомѣ и нѣгѣ подъ благодатными лучами южнаго солнца, ласкающаго ихъ.

Глазъ не знаетъ, на чемъ остановиться, что схватить, чѣмъ насладиться досыта, такое обиліе красоты разсыпано предъ нимъ повсюду, куда-бы ни падалъ онъ, что бы ни встрѣчалъ предъ восхищеннымъ взглядомъ своимъ.

Сады виллъ полны пальмъ, то роскошныхъ и могучихъ, подъ тѣнью которыхъ могутъ свободно укрыться десятки людей, то гибкихъ, стройныхъ и граціозныхъ, какъ прелестныя, но немного болѣзненныя женщины.

Повсюду золотистые мандарины и померанцы, созрѣвающіе здѣсь уже въ январѣ, а между ними нѣжно сквозятъ, точно розовыя облачка, спустившіеся на землю и запутавшіеся въ зелени садовъ цвѣтущіе миндали, и пылятъ ароматной пылью кружевныя мимозы, усыпанныя яркими гроздьями своихъ пушистыхъ желтыхъ цвѣтовъ. Всѣ поля, всѣ склоны горъ покрыты плантаціями цвѣтовъ; они идутъ рядами широкихъ уступовъ, другъ надъ другомъ, и каждый кусокъ, каждая пядь земли, сколько-нибудь годныхъ къ обработкѣ, культивируется подъ поля розъ, гвоздикъ, анемоновъ и фіалокъ, точно усыпавшихъ всю эту страну, воздѣлывающую ихъ и живущую торговлей ими.

А эти гигантскія агавы, которыя мы съ такимъ трудомъ выращиваемъ въ оранжереяхъ здѣсь растутъ какъ простой лопухъ, окаймляя чуть не сплошь борта всѣхъ дорогъ.

Ихъ мясистые, холодные листья, съ голубовато-дымчатымъ налетомъ, широко раскидываются во всѣ стороны и, въ этой сказочной странѣ, гдѣ все волшебно и образно, кажутся какими-то добродушными, безвредными змѣями, спокойно дремлющими на солнцѣ.

Онѣ растутъ всегда по сосѣдству съ колючими, дикими кактусами, тѣсно, какъ въ объятіяхъ, сплетающимися съ ними и тоже похожими больше на какихъ-то фантастическихъ чудовищъ, чѣмъ на простыя растенія, то запыленныхъ, корявыхъ и косматыхъ, то вдругъ цвѣтущихъ пурпуровыми цвѣтами, такими яркими и сочными, точно они насосались чьей-то крови.

Эти агавы обладаютъ одной странной особенностью, придающей имъ прелесть поэзіи и трогательной тайны.

Онѣ тоже могли бы сказать про себя, что принадлежатъ „къ роду бѣдныхъ Азръ“, и „полюбивъ, умираютъ“, потому что цвѣтутъ, выпуская изъ себя длинный, тонкій стебель, съ кистями красныхъ цвѣтовъ, точно стремящійся къ небу—всего разъ за все свое существованіе и потомъ неизбѣжно погибаютъ.

Легенда сложила, что это бываетъ „разъ въ сто лѣтъ“, на самомъ дѣлѣ онѣ живутъ лишь отъ 20 до 30 лѣтъ и умираютъ, исполнивъ свое назначеніе и въ крѣпкихъ сѣменахъ вызрѣвшихъ плодовъ своихъ передавая зачатки таинственной

жизни новому, молодому поколѣнію маленькими отростками, возрождающимися на мѣстѣ погибшихъ гигантовъ...

Но какъ ни прекрасна эта природа, а въ ней есть что-то искусственное и декоративное. Она какъ бы слишкомъ уже прекрасна, слишкомъ нарядна, слишкомъ заставляетъ любоваться собой и подчасъ почти уже утомляетъ этимъ постояннымъ напряженіемъ, отъ котораго порой хочется почти отдохнуть. Ей точно не хватаетъ простоты—она скорѣй поражаетъ, чѣмъ трогаетъ, больше восхищаетъ, чѣмъ успокаиваетъ.

При всемъ восторгѣ ею, вы гдѣ-то, внутри себя, невольно чувствуете, что вся эта красота въ сущности чужда вамъ и что, рано или поздно, вы устанете восторгаться ею и васъ опять и, быть-можетъ, болѣе чѣмъ когда либо, потянетъ въ свои родныя поля, въ простыя березовыя рощи и старыя липовыя аллеи своего деревенскаго сада.

Если бы я была мужчиной,—я бы сравнила ее съ красивой любовницей—влюбляясь въ которую—измѣняютъ на время женѣ, но отъ которой, остывъ и уставъ, уйдутъ обратно къ той же женѣ, быть-можетъ не такой прекрасной и увлекательной, но всегда несравненно болѣе близкой и глубже любимой уже за то, что она „своя“. Такъ и природа,—полный отдыхъ, полное

сліяніе съ собой можетъ дать только та, въ которой вы родились, выросли и созрѣли.

Она съ ранняго дѣтства запечатлѣлась въ васъ, слилась съ вашимъ существомъ, проникая въ него всѣми своими впечатлѣніями, безсознательно западавшими и отливавшими, быть-можетъ, всю

Ривьера. Promenade des Anglais.

нашу натуру именно въ эту, а не въ какую иную форму.

И вотъ любуясь всѣми этими яркими, почти ослѣпляющими въ блескѣ своемъ красками и всей этой красотой, разсыпанной въ такомъ богатствѣ предъ вами, вы вдругъ ловите себя, гдѣ-то глубоко въ душѣ, точно потихоньку отъ самого себя, что мечтаете... о тихомъ сѣренькомъ днѣ гдѣ-нибудь въ захолустьѣ родныхъ мѣстъ,

о волнующемся полѣ спѣлой ржи и уходящемъ въ даль молодомъ березнякѣ—когда всѣ краски и звуки кажутся такими мягкими и нѣжными, словно задумчивыми и невольно успокаивающими въ своей тишинѣ наболѣвшія мысли и чувства.

Я думала сначала, что это быть-можетъ лично мое субъективное чувство, но я провѣряла его и на другихъ, русскихъ людяхъ, и почти отъ всѣхъ слышала подтвержденіе его, а одна милая, русская дѣвушка, поневолѣ живущая здѣсь уже два года, сказала мнѣ:

— Вы называете это красотой и сказкой природы, а я вамъ скажу, что если я буду знать навѣрное, что обречена жить здѣсь постоянно и никогда больше не вернусь на родину въ Россію, то я лучше предпочту самую раннюю смерть постоянной жизни во всей этой красотѣ! Она чужая намъ!

„Родина!“ таинственное и странное слово, оставляющее насъ почти равнодушными, пока мы въ ней и полное такого глубокаго и великаго смысла, когда мы оторваны отъ нея!

Только тогда начинаемъ мы сознавать, какими загадочными, но крѣпкими нитями связано съ нею все наше существо, почти не отдѣлимое отъ нея и какъ бы утрачивающее даже смыслъ собственнаго существованія внѣ ея.

И вотъ, когда начинаешь вполнѣ постигать и оцѣнивать ее—дѣлая какую-то мысленную пере-

оцѣнку въ ней всего даже того, что еще недавно казалось только отрицательнымъ и раздражающимъ, начинаетъ представляться вдругъ въ совсѣмъ иномъ свѣтѣ и почти примиряетъ съ собой во имя того хорошаго и дорогого, чѣмъ полна она для насъ. Пока вы живете въ ней, вы почти не замѣчаете этихъ хорошихъ сторонъ ея—или, по крайней мѣрѣ, не онѣ представляются вамъ важными и главными, но отойдя отъ нея и столкнувшись непосредственно съ недостатками другихъ странъ и націй, кажущихся издали полными разныхъ совершенствъ, вы лучше и глубже уясняете себѣ это.

И какъ дорога тогда каждая вѣсть изъ нея; какъ близко и мило все, что напоминаетъ ее, что хоть отдаленно походитъ на нее, и какъ часто и невольно для себя—летите вы къ ней мыслью!.. Очень можетъ быть, что это явленіе свойственно только первому, всегда и во всемъ болѣе острому періоду; пока не порвалась еще великая связь „привычки“, и что впослѣдствіи, когда васъ разъединятъ съ ней уже цѣлые годы, за время которыхъ окрѣпнутъ корни въ новыхъ мѣстахъ, въ свою очередь создавъ эту спасительную привычку уже къ нимъ—этого больше не ощущается. Никто не умираетъ отъ ностальгіи чрезъ 10 и 20 лѣтъ послѣ переселенія, ею заболѣваютъ или сначала или никогда и расположеніе къ ней кроется, конечно, въ индивидуаль-

ныхъ свойствахъ натуры. Въ одной это заложено очень сильно, въ другой слабѣе, въ третьей его можетъ совсѣмъ не быть.

Что еще портитъ эти мѣста—это ихъ населеніе, и мѣстное, и пришлое, налетающее сюда со всѣхъ сторонъ міра, только по сезонамъ.

Эту волшебную по своей красотѣ страну хотѣлось бы населить и людьми такими же прекрасными, какъ сама она, которые вполнѣ гармонировали бы съ ней и дополняли бы другъ друга. А между тѣмъ это далеко не такъ.

Мѣстное населеніе, создавшееся изъ смѣси италіанскаго и французскаго, почему-то разомъ утрачиваетъ здѣсь свою италіанскую красоту и въ то же время совершенно не усваиваетъ французской интеллектности. Оно какъ бы заимствовало худшія стороны обѣихъ націй и не отличается высокими качествами ни въ моральномъ, ни въ физическомъ смыслѣ. Мелкорослое, неважно сложенное, съ широкими грубоватыми лицами, съ вульгарными и крикливыми манерами, оно сплошь кажется мелкими торговцами, комивояжерами и приказчиками, изъ которыхъ и состоитъ въ добрыхъ двухъ третяхъ своихъ. Здѣсь каждый торгуетъ чѣмъ можетъ и такъ или иначе старается извлечь всю пользу изъ налетающей сюда по сезонамъ публики. Оно такъ и глядитъ на нее, какъ на свою добычу, которую нужно хорошенько почистить на всѣ лады, и

относится къ ней только съ этой точки зрѣнія. Подъ внѣшней любезностью, готовой униженно заискивать предъ вами, пока надѣются извлечь изъ васъ хорошій барышъ, скрываются по-большей части натуры грубыя, алчныя и черствыя, немедленно обнаруживающіяся во всей откровенности этихъ качествъ, какъ только вы больше имъ не нужны. Разъ только убѣждаются, что ничего не получатъ отъ васъ, то съ вами уже не церемонятся, и человѣкъ только что разсыпавшійся передъ вами въ любезности, дѣлается грубымъ и наглымъ, не тратя больше на васъ даромъ ни времени, ни вниманія, которое ему нужно для другихъ намѣченныхъ жертвъ. Италіанецъ тоже всегда норовитъ къ тому-же съ путешественниками и при случаѣ конечно не преминетъ воспользоваться этимъ. Но италіанецъ продѣлываетъ это такъ благодушно и наивно и довольствуется въ сущности такимъ малымъ, что вы невольно прощаете ему это, тогда какъ здѣсь вы чувствуете все время, что васъ не только хотятъ обобрать, но внутренно еще и издѣваются надъ вами. Тогда и вамъ невольно хочется защищаться и не позволять дурачить себя слишкомъ уже безцеремонно и дерзко. Конечно, это мало чему помогаетъ и разъ вы сюда явились— вы должны быть готовы заплатить хорошую контрибуцію мѣстному населенію и лучше всего заранѣе примириться съ этимъ, если у васъ есть

для того охота и средства, если же мало того и другого — то избирать для путешествія другія болѣе скромныя мѣста, хотя бы ту же Швейцарію, которая почти идеальна въ этомъ отношеніи, довольствуясь самымъ умѣреннымъ процентомъ выгоды, или болѣе тихіе и отдаленные уголки Германіи.

Пріѣзжающая на Ривьеру публика сама почти пріучаетъ къ тому, чтобы ее обирали. Эта случайная космополитическая толпа, стекающаяся сюда по сезонамъ со всѣхъ концовъ міра, еще менѣе симпатична, чѣмъ мѣстное населеніе. Половина ея является сюда исключительно для пріятнаго времяпрепровожденія на всѣ лады и выставки себя и своихъ туалетовъ. Эти, конечно, ничего не имѣютъ противъ обиранія себя всѣми способами. Напротивъ, видятъ въ этомъ даже извѣстный шикъ, потому что чѣмъ легче и безумнѣе выбрасываются здѣсь деньги, тѣмъ болѣе это ставитъ человѣка на виду, и тѣмъ выше поднимается онъ въ глазахъ разнаго алчнаго и льстиваго люда, кормящагося на слабостяхъ, порокахъ и страстяхъ другихъ.

Здѣсь все расчитано на соблазнъ и разжиганіе воображенія аппетитовъ пустой, легкомысленной, праздной и тщеславной толпы. Вся роскошь міра, какую только могло придумать человѣчество за нѣсколько вѣковъ своей „культуры“, свозится сюда со всѣхъ сторонъ, изобрѣтающихъ

и поставляющихъ ее. Одни ювелирные магазины на Place Masena, самые лучшіе и богатѣйшіе въ мірѣ, представляютъ собой цѣлые милліоны, выставленные въ ихъ витринахъ, изъ которыхъ каждая соперничаетъ съ другою безумною роскошью красотой и художественностью своихъ произведеній, надъ которыми работаютъ лучшіе художники Парижа и Лондона и которыя создаются изъ самыхъ драгоцѣнныхъ рубиновъ, опаловъ, изумрудовъ и жемчуговъ, не говоря уже о брилліантахъ баснословныхъ суммъ.

Предъ ними всегда тѣснится жадная толпа, преимущественно женщинъ, опьяняемыхъ всѣми этими сверкающими драгоцѣнностями и любующихся ими до головокруженія и гипноза, послѣ которыхъ готовы расплачиваться за нихъ уже не только послѣдними деньгами, но и всѣмъ остальнымъ, вплоть до самыхъ душъ, если бы находились только еще дьяволы, желающіе покупать ихъ. По-настоящему все это царство рулетки, являющейся для многихъ главной притягательной силой, и должно было бы находиться въ ихъ непосредственномъ владѣніи и завѣдываніи, да, вѣроятно, и находится, если только они все еще существуютъ, и адъ еще не упраздненъ.

Одинъ этотъ знаменитый, адскій дворецъ въ Монте-Карло, въ которомъ съ утра и до глубокой ночи раздается непрестанный звонъ золота и шелестъ размѣниваемыхъ бумажекъ, цѣлыми

грудами разсыпанныхъ по всѣмъ столамъ, а въ полночь, предъ закрытіемъ, сваливаемыхъ прямо въ большіе, холщевые мѣшки, какъ у насъ картофель!

Сколько здѣсь за день, въ одномъ этомъ залѣ, проходитъ трагедій, разореній, позора, самоубійствъ, подчасъ, можетъ-быть, даже и преступленій.

Вся эта масса толпящихся въ немъ, накрашенныхъ, непремѣнно рыжеволосыхъ женщинъ, съ безпокойными, подведенными глазами, карминовыми губами, въ умопомрачительныхъ туалетахъ и такихъ брилліантахъ, что одна серьга въ ихъ ушахъ уже равняется цѣлому состоянію; эти полуразоренные и окончательно разоряющіеся здѣсь вельможи всего міра, раскоронованные короли и принцы, ищущіе здѣсь послѣдняго утѣшенія; эти баснословные американскіе милліардеры и милліонеры, всѣмъ пресытившіеся, все видавшіе, все познавшіе и отъ скуки выигрывающіе и проигрывающіе здѣсь въ одинъ вечеръ сотни тысячъ своихъ долларовъ, и въ безсильной зависти подражающіе имъ бѣдные богачи другихъ странъ и, наконецъ, всевозможные petits crévés, ютящіеся подлѣ всего этого люда въ ожиданіи перепадающихъ подачекъ, своего рода, добровольная свита всѣхъ этихъ „великихъ міра сего“, самая приниженная, льстивая, алчная и въ то же время самая коварная и ненадежная изъ всѣхъ

существующихъ свитъ, все это имѣетъ въ себѣ уже нѣчто демоническое и вмѣстѣ съ тѣмъ жалкое, порочное и пошлое одновременно какъ бы оставляющее свой отравляющій слѣдъ на всемъ, до чего коснется.

Публика этого рода составляетъ главный элементъ; остальное состоитъ частью изъ англичанъ, всегда и вездѣ одинаковыхъ, съ ихъ лощеными застывшими лицами, частью изъ больныхъ, которыхъ посылаютъ сюда умирать или, въ лучшемъ случаѣ, набираться новыхъ силъ и здоровья въ благословенномъ климатѣ вѣчной весны. Ихъ блѣдныя лица и истощенныя фигуры кажутся здѣсь живыми воплощеніями фатальнаго „memento mori“, точно нарочно посылаемыхъ судьбою для устрашенія всей этой разряженной праздной и жадной къ наслажденіямъ жизни толпы, которая если и боится еще чего-нибудь, то только смерти.

И, наконецъ, самый небольшой процентъ приходится на долю обыкновенныхъ, скромныхъ путешественниковъ, изъ разныхъ странъ пріѣзжающихъ сюда, чтобы взглянуть на чарующую природу и погрѣться на солнцѣ ея. Но ихъ такъ сравнительно немного, что они незамѣтно тонутъ въ общей массѣ иного характера и, точно сознавая свою „неумѣстность“ стараются стушеваться еще больше и отдѣльно любоваться тѣмъ, чего остальные, въ своей погонѣ за удоволь-

ствіями совсѣмъ другого рода, даже не замѣчаютъ.

Правда, все это относится главнымъ образомъ къ такимъ „специфическимъ“ въ этомъ отношеніи мѣстамъ, какъ Ницца, Монте-Карло и Канъ отчасти.

На той же Ривьерѣ найдутся, конечно, спокойные и тихіе уголки, гдѣ можно жить своею собственною жизнью, почти не смѣшиваясь съ толпой, тихо и уединенно, и чувствовать себя какъ въ раю въ этихъ прелестныхъ мѣстахъ, предъ лицомъ этой красавицы-природы.

Но именно то-то и характерно, что самые восхитительные изъ этихъ уголковъ—пустуютъ, а Ницца и Монте-Карло переполнены. Прелестнѣйшія въ мірѣ дорожки и прогулки гдѣ-нибудь по берегу моря или въ горахъ—остаются всегда одинокими, и рѣдко, рѣдко когда вы встрѣтите на нихъ кого-нибудь, а Казино и разные модные рестораны и кондитерскія, въ которыхъ представители здѣшнихъ мѣстъ даютъ другъ другу въ опредѣленные часы rendez-vous — биткомъ набиты!

Есть здѣсь еще и другая типичная черта: вы почти не видите молодыхъ лицъ! Тѣ, что наиболѣе бросаются въ глаза и играютъ первыя роли—по большей части давно распростились съ своей молодостью и съ трудомъ поддерживаютъ послѣдніе остатки ея разными суррогатами и

фальсификаціями, болѣе или менѣе замѣняющими ее при умѣньи.

Здѣсь еще болѣе, чѣмъ въ Парижѣ—царство сорокалѣтней женщины. Это она является царицею и законодательницей моды и тона.

Эти лѣта такъ здѣсь въ модѣ, что ихъ даже и не скрываютъ—лишь бы не слишкомъ больше. И всѣ шестидесятилѣтнія старухи стараются во что бы то ни стало притвориться „только сорокалѣтними молодыми женщинами“.

И право нѣтъ ничего ужаснѣе этихъ старыхъ лицъ, съ выцвѣтшими глазами, трясущимися головами и отвисшими челюстями почти не закрывающихся уже ртовъ, покрытыхъ густымъ слоемъ бѣлилъ и румянъ, съ выкрашенными въ рыжую краску остатками жалкихъ волосъ, въ яркихъ кричащихъ туалетахъ и шляпкахъ послѣдняго слова моды. Онѣ ужасны, никакіе бриллiанты, которыми онѣ обвѣшиваютъ себя, никакіе роскошные туалеты, въ которые онѣ запрятываютъ свои дряхлыя, высохшія, какъ скелеты, или расползшіяся отъ старческаго жира—тѣла, не спасаютъ и не скрашиваютъ ихъ, конечно. Напротивъ, чѣмъ изысканнѣе ухищреніе—тѣмъ отвратительнѣе результатъ. И когда видишь такихъ позорныхъ старухъ, въ обществѣ какихъ-то подозрительныхъ молодыхъ мужчинъ, да еще у игорныхъ столовъ въ Монте-Карло—то дѣлается такъ скверно, охватываетъ такое гадли-

вое чувство, которое поневолѣ портитъ потомъ всякое настроеніе, и наглядѣвшись на нихъ потомъ не чувствуешь даже красоты этого знаменитаго мѣста, которымъ всѣ такъ восхищаются, и, кромѣ утомленія и какой-то невольной моральной брезгливости, ничего не выносите оттуда. Но если старухи здѣсь постыдны, то дѣвочки, которыхъ зачѣмъ-то привозятъ сюда старшіе,— прямо жалки. Во-первыхъ, онѣ — какъ это ни странно — тоже похожи на сорокалѣтнихъ женщинъ.

Зависитъ ли это отъ претенціозныхъ шляпъ и причесокъ, или отъ ихъ манеръ, стремящихся во всемъ подражать старшимъ, но я нигдѣ не видѣла такихъ старообразныхъ подростковъ, какъ здѣсь, среди тѣхъ, что со скучающими лицами и презрительными гримасами прогуливаются на Promenade des Anglais въ Ниццѣ и подлѣ Казино (во-внутрь котораго имъ, по счастью, входъ еще не разрѣшенъ) въ томъ же Монте-Карло. Эта ранняя порча, которой здѣсь онѣ быстрѣе и легче, чѣмъ гдѣ-либо, заражаются отъ большихъ, точно болѣзнь, разъѣдаетъ ихъ юныя существа, накладывая на нихъ свой нездоровый слѣдъ. Она сгоняетъ съ ихъ лицъ, блеклыхъ уже въ 14 и 15 лѣтъ, яркія, свѣжія краски и жизнерадостное выраженіе, присущія здоровой молодости, и дѣлаетъ какими-то преждевременными старушками, на которыхъ грустно

смотрѣть. И съ какимъ удовольствіемъ глядѣли мы, бывало, потомъ на нашу краснощекую, бѣлокурую, съ ясными васильковыми глазами, нѣмецкую дѣвочку, того же возраста, изъ какихъ-то прирейнскихъ провинцій, которая жила съ своей матерью у насъ въ Болье, въ одномъ отелѣ съ нами. Она была прелестна даже въ своей несложившейся еще неуклюжести подростка, съ большими ногами, съ красными руками и широкою таліею, похожая на славнаго молодого медвѣженка, но такъ цвѣтущая здоровьемъ, такая вся ясная и свѣжая, точно настоящее апрѣльское утро, еще немного свѣжее, но уже все залитое солнцемъ и обѣщающее теплый, хорошій день. Вотъ этого-то чувства весны и утра совершенно нѣтъ въ тѣхъ французскихъ и космополитическихъ дѣвочкахъ, которыхъ мы наблюдали здѣсь.

И это тѣмъ удивительнѣе, что французъ-мужчина почти всегда большой ребенокъ, иногда добродушный, иногда злой и жестокій, но какъ бы тамъ ни было, а остающійся имъ до сѣдыхъ волосъ. Тридцатилѣтніе мужчины среди нихъ способны дурачиться, какъ у насъ гимназисты младшихъ классовъ, а шестидесятилѣтніе старики искренно хохотать надъ этимъ.

Надо видѣть, какими пустяками французъ можетъ „забавлять“ себя. Удовлетворить его по этой части и даже привести въ восторгъ гораздо легче, чѣмъ насъ, русскихъ. Французы несравненно

жизнерадостнѣе и оптимистичнѣе насъ, которые уже по природѣ всегда слегка скептики и пессимисты. Тамъ, гдѣ русскій едва удостоитъ обратить вниманіе и, въ лучшемъ случаѣ, въ видѣ одобренія, снисходительно скажетъ „ничего себѣ“—французъ въ искреннемъ восторгѣ восклицаетъ: „O, que c'est beau! C'est delicieux, ravissant!“ и т. д. Нашъ отель давалъ въ этомъ отношеніи хорошую почву для наблюденій, потому что при преобладаніи французовъ, въ немъ достаточно было и другихъ національностей для сравненія. И вотъ, одинъ вечеръ былъ особенно типиченъ въ этомъ смыслѣ. Послѣ обѣда въ общемъ салонѣ собралось, по обыкновенію, все общество, грѣясь и болтая подлѣ каминовъ. Въ залѣ было два камина, по обѣ стороны входныхъ дверей, и они какъ бы раздѣляли невидимою чертою эту большую комнату на двѣ части. Въ одной группировались всегда англичане, почти не соприкасавшіеся съ остальными, въ другой—всѣ прочія національности, отлично уживавшіяся на этой нейтральной почвѣ, какъ бы доказывавшей, что международная рознь и вражда существуютъ больше въ политикѣ, чѣмъ въ жизни. И вотъ, одному изъ французовъ, соблазненному, очевидно, примѣромъ фокусника, дававшаго наканунѣ представленіе, пришла фантазія показывать свои фокусы и ребусы, изъ тѣхъ, которыми забавляются наши гимназистики до 15-лѣтняго возраста. Но

здѣсь ими увлеклись рѣшительно всѣ французы, которыхъ, какъ я уже сказала, было большинство и изъ которыхъ младшему было 23, а старшему подъ 70. Хохотали чуть не до слезъ и каждый въ свой чередъ спѣшилъ похвастать и позабавить себя и другихъ такой же ребяческой выходкой. Но характерно было отношеніе къ этому другихъ національностей. Англичане, тѣ прямо не обращали никакого вниманія и, не переходя за свою черту, продолжали вести себя такъ, какъ будто, кромѣ ихъ, въ залѣ никого не было и всѣ остальные были просто пустымъ пространствомъ. Русскій, довольно молодой еще человѣкъ, въ очкахъ, державшійся, по обыкновенію всѣхъ русскихъ, „въ сторонкѣ", подошелъ, было, посмотрѣлъ, посмотрѣлъ, пожалъ плечами, искренно, повидимому, недоумѣвая, какъ люди могутъ забавляться такими пустяками, и отошелъ, не возвращаясь больше.

Два бывшіе тутъ же нѣмца принимали уже болѣе дѣятельное участіе. Одинъ читалъ газету, но время отъ времени, заинтересованный взрывами общаго хохота, бросалъ ее на минуту, присоединялся къ играющимъ, снисходительно улыбался, дѣлалъ какое-нибудь замѣчаніе, а разъ или два даже и самъ что-то показывалъ и затѣмъ снова отходилъ и углублялся опять въ свою газету, интересовавшую его все-таки гораздо больше. Другой же, уже очень не молодой,

но довольно легкомысленный нѣмецкій баронъ изъ прирейнской области, отецъ нашей дѣвочки, съ прокопченными насквозь отъ сигарнаго дыма усами и всегда меланхоличной миной послѣ ежедневныхъ поѣздокъ въ Монте-Карло, гдѣ ему также ежедневно „не везло“, сидѣлъ все время рядомъ, покуривая свою обычную сигару кажется даже и во снѣ не выпускаемую имъ изо рта и больше погруженный въ пріятную послѣобѣденную дремоту, чѣмъ въ разгадываніе ребусовъ.

Но при разрѣшеніи каждаго изъ нихъ или при финалѣ какого-нибудь фокуса и взрывахъ хотота, неизмѣнно пробуждался, просилъ его себѣ на разсмотрѣніе требовалъ отдѣльныхъ обстоятельныхъ поясненій, послѣ чего говорилъ: „Dass ist hübsch!“ или „wunderschön!“ и снова погружался въ дремоту.

Всѣ же французы и бельгійцы столпились вокругъ и самые солидные изъ нихъ хохотали и взвизгивали отъ удовольствія, какъ настоящія дѣти, а, расходясь, горячо и любезно благодарили другъ друга за „une soirée delicieuse“ и на другой еще день говорили о немъ. Но если французъ— ребенокъ, то ребенокъ, въ большинствѣ случаевъ, испорченный и даже развращенный. Его воображеніе, а съ нимъ и вкусъ, и мысли сильно загрязнены. Французъ можетъ быть интеллигентенъ, экспансивенъ, добръ, великодушенъ и, вообще, обладать самыми разнородными и высокими до-

стоинствами, но быть „чистымъ“ умственно и душевно онъ почти не можетъ.

Я не говорю о натурахъ исключительныхъ, онѣ всегда и вездѣ стоятъ отдѣльно, внѣ общихъ правилъ, и не могутъ являться представителями общаго склада и уровня. Я говорю о средней преобладающей массѣ, въ которой ясно выражена эта черта, какъ бы заражающая ихъ другъ отъ друга точно какой-то прилипчивой болѣзнью.

Да иначе и быть не можетъ. При той долѣ большого легкомыслія, свойственной имъ отъ рожденія, быть-можетъ, болѣе, чѣмъ всякой другой народности, и при той жаждѣ всякихъ удовольствій и развлеченій, къ которымъ французъ постоянно стремится уже по самой натурѣ своей, его окружаетъ еще обстановка современнаго Парижа, который не только не скрываетъ своей порочности, но почти бравируетъ ею, придумывая для нея все новыя, все болѣе острыя и сильныя ощущенія. Они предлагаются ему тамъ со всѣхъ сторонъ различными предпринимателями подобнаго рода и постепенно, конечно, разлагаютъ его мысль, отравляя ее, какъ медленнымъ ядомъ, отъ котораго она потомъ уже никогда не можетъ исцѣлиться вполнѣ.

И вотъ, если бы не ихъ высокая культура, невольно облагораживающая и поднимающая нравы, умы и вкусы, да не та спасительная ребячливость, которою заботливая природа одарила

ихъ, точно въ противовѣсъ всему остальному, они быстро пришли бы къ общему, полному разложенію. Но теперь эти драгоцѣнныя свойства спасаютъ и каждаго изъ нихъ отдѣльно, и весь народъ вмѣстѣ, не давая окончательно падать и гибнуть, и какъ бы оставляя въ ихъ душахъ нравственный свѣтильникъ, не перестающій свѣтить, въ какую бы тьму, казалось, ни опускали его. И порой онъ еще способенъ вспыхивать такимъ яркимъ свѣтомъ опять-таки какъ въ жизни каждаго изъ нихъ, такъ и въ жизни общихъ моментовъ всей націи, что невольно восхищаетъ и примиряетъ со всѣми другими отрицательными сторонами этого народа, полугеніальнаго, полуребяческаго, полупорочнаго, но всегда интереснаго, даровитаго, полнаго жизни и, какъ бы тамъ ни было, но всегда шедшаго и идущаго впереди міровой культуры. Есть еще одно маленькое, но фатальное для французовъ словечко, которое тоже оказываетъ не малое вліяніе на ихъ нравственную физіономію.

„Etre chic"—это мечта, чуть не девизъ цѣлой массы французовъ, всегда готовыхъ для осуществленія ее итти на всякія жертвы; оно является для него выраженіемъ высшаго восхищенія и одобреній, дальше которыхъ итти, по его мнѣнію, уже некуда, и онъ примѣняетъ его въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ. Оно какъ-то само собой вырывается у него.

— Oh! c'est chic!—восклицаетъ онъ при видѣ роскошнаго выѣзда, красивой женщины, парусной гонки, моднаго кабачка, нарядной виллы и т. д. и оно же вырывается у него при остроумной фразѣ, или блестящей рѣчи, произнесенной въ парламентѣ какимъ-нибудь популярнымъ ораторомъ, и при паденіи одного министерства и неожиданной побѣдѣ другого, и по поводу свѣтской дуэли, надѣлавшей шуму, или ловкой аферы дѣльца, и на первомъ представленіи какой-нибудь пьесы, прошедшей съ особеннымъ успѣхомъ; словомъ, онъ съ одинаковымъ восхищеніемъ примѣняетъ его и къ геройской побѣдѣ боэровъ надъ англичанами, и къ модному покрою пальто и жилета.

Принято также кричать о любви французовъ къ женщинамъ; дѣйствительно, никто, быть-можетъ, не наполняетъ ими такъ свою жизнь, какъ они; никто другой не тратитъ на нихъ столько времени и вниманія, но никто, быть-можетъ, и не презираетъ ее въ глубинѣ души такъ, какъ они, несмотря на всѣ эти внѣшніе признаки почтенія, порой даже обожанія и той совершенно особенной, чисто французской любезности, которыми они окружаютъ ее. Чувственный по натурѣ и всегда стремящійся къ удовольствіямъ, онъ видитъ въ ней главный источникъ ихъ,—необходимаго своего товарища въ нихъ, безъ котораго утрачивается вся прелесть этихъ удовольствій,

а потому, постоянно нуждающійся въ ней и отчасти зависимый отъ нея, онъ готовъ и льстить ей, и разоряться на нее—но только не принимать ее въ серьезъ. Она его любимая игрушка, его главное наслажденіе,—но отнюдь не равноправный его товарищъ и даже не тотъ другъ, котораго всегда ищутъ въ ней наши русскіе мужчины. Онъ готовъ для нея на многія безумства, жертвы и лишенія—но только не на уступку ради нея какихъ бы то ни было своихъ правъ. Ни одни изъ законовъ не обезличиваютъ, кажется, женщину до такой степени, какъ французскіе, и, надо сказать правду, ни одна изъ литературъ не оклеветала такъ свою женщину—какъ французская литература, создавшая знаменитый адюльтеръ, который она возвела въ какое-то общее правило. Всѣ французскія женщины, которыхъ мнѣ случалось знавать, были несомнѣнно выше своихъ литературныхъ образцовъ, и не можетъ быть, чтобы каждый разъ я нападала на какое-то счастливое исключеніе. Французъ серьезно вѣритъ въ женщину только, какъ въ мать и хозяйку. Тутъ онъ безусловно уважаетъ ее и охотно подчиняется ей. Вѣроятно, поэтому всякій хорошій мужъ (хорошій, конечно, съ французской точки зрѣнія) среди нихъ, особенно въ буржуазіи, всегда слегка подъ башмакомъ у своей жены. Внѣ дома, онъ, можетъ-быть, оставляетъ желать много лучшаго и въ большинствѣ случаевъ далеко не

безупреченъ, но въ домѣ—это она хозяйка и правительница. Да это и естественно вытекаетъ само собой уже изъ того, что французская женщина всегда практичнѣе, а пожалуй, даже и серьезнѣе своего властителя. Она гораздо меньше „ребенокъ“, чѣмъ онъ, и если онъ нерѣдко до сѣдыхъ волосъ во многихъ отношеніяхъ остается дитятей и мальчишкой, то она еще дѣвочкой превращается въ маленькую женщину.

Но разъ заговоривъ о французскихъ женщинахъ вообще, нельзя не упомянуть о нашей встрѣчѣ и знакомствѣ съ одной изъ самыхъ знаменитыхъ современныхъ французскихъ женщинъ. Я говорю о madame Adam, съ которой мы познакомились въ семьѣ нашихъ соотечественницъ—Башкирцевыхъ.

Кто не читалъ дневника Маріи Башкирцевой или хоть не слыхалъ ея имени? Этой оригинальной, талантливой дѣвушки, умершей такъ рано, успѣвшей закончить вполнѣ всего три-четыре картины и написать два маленькихъ томика своего дневника, вышедшаго уже послѣ ея смерти, и тѣмъ не менѣе заставившей говорить о себѣ всю Европу, дочерью которой она была въ сущности гораздо больше, чѣмъ своей Россіи, въ которой родилась точно по какой-то случайной ошибкѣ судьбы.

Послѣ нея осталась семья не „нисходящей“ линіи, какъ бываетъ большей частью, а „восхо-

дящей“, что гораздо тяжелѣе для тѣхъ, кто остался „доживать“. Осталась мать тетка и кузина, обожавшія ее при жизни и боготворящія еще больше теперь, послѣ смерти, со дня которой прошло уже 20 лѣтъ. Этого срока часто бываетъ вполнѣ достаточно для забывчивыхъ людскихъ сердецъ. Но здѣсь онъ кажется такимъ короткимъ, точно все это случилось только въ прошломъ году. Всѣ комнаты полны „ея“ портретами; на стѣнахъ висятъ „ея“ неоконченные этюды, набросанные смѣлой и энергичной рукой, которую такъ жаль представить себѣ уже мертвой, и истлѣвшей; въ спальнѣ еще стоитъ „ея“ постель, въ видѣ бѣлой, лакированной раковины, уже пожелтѣвшей и растрескавшейся теперь, но когда-то такой же прелестной и изящной, какъ и та дѣвушка, что спала въ ней. Въ шкафахъ хранятся еще „ея“ шляпы и платья, превратившіяся для этихъ обожающихъ женщинъ въ настоящую святыню, до сихъ поръ еще вызывающія слезы на ихъ глаза, когда-то любовавшіеся ею въ нихъ и въ которыхъ точно еще остался неуловимый слѣдъ ея самой... Говорятъ, по крайней мѣрѣ, съ оживленіемъ и интересомъ тоже о ней одной... Только женщины способны къ такому долгому и вѣрному культу дорогихъ умершихъ, со смертью которыхъ точно порывается и замираетъ и ихъ собственная жизнь, вся уходящая въ воспоминаніе прошлаго—кон-

ченная для будущаго и почти безучастная къ настоящему.

Здѣсь, положимъ, этотъ культъ боготворенія поддерживается еще и тѣмъ неослабѣвающимъ интересомъ къ личности покойной—со стороны постороннихъ, которые нерѣдко заглядываютъ въ этотъ уютный уголокъ, который такъ и хочется окружить родными липами вмѣсто чужихъ пальмъ, чтобы поговорить объ умершей и взглянуть на тѣ мѣста, гдѣ она когда-то жила. И вотъ, отчасти поэтому, отчасти по своей собственной широкой гостепріимности эта русская семья сдѣлалась какимъ-то конспиративнымъ пунктомъ разныхъ европейскихъ знаменитостей. Пріѣзжаетъ ли Дешанель, онъ уже у нихъ; разные французскіе писатели и публицисты, очутившись въ здѣшнихъ краяхъ, тоже не преминутъ заглянуть сюда, хотя бы съ короткимъ визитомъ, который точно считаютъ своей обязанностью сдѣлать радушнымъ хозяйкамъ.

Madame Adam—старинный другъ семьи, во время своихъ наѣздовъ въ Ниццу, тоже всегда поселяется у нихъ. Узнавъ объ этомъ и интересуясь ею,—мы просили дать намъ знать, какъ только она пріѣдетъ.

Меня она интересовала тѣмъ болѣе, что заочно мы уже знали немного другъ друга.

Но наглядѣвшись теперь на пожилыхъ фран-

цузскихъ женщинъ, я немного боялась перваго впечатлѣнія, которое могло бы чисто внѣшнимъ образомъ не удовлетворить наши русскіе требованія и вкусы, въ сущности совсѣмъ непохожіе на западные, а тѣмъ болѣе на французскіе. Тѣмъ сильнѣе она успокоила и подкупила насъ, когда мы увидѣли ее.

Madame Adam 64 года, которыхъ она не скрываетъ и не старается уменьшить никакими ухищреніями. Тѣмъ не менѣе она отнюдь не производитъ впечатлѣнія старухи и не держится ею. Самое большее, что можно сказать про нее, это— что она „пожилая“ женщина.

Она средняго роста, скорѣй полна, чѣмъ худа, но съ хорошей, еще неутратившей послѣднюю стройность, подвижной фигурой, полной бодрости и энергіи. Такой же энергіей и внутренней силой, смягченной добродушной веселостью, дышитъ и ея лицо, свѣжее, немного крупное теперь, съ хорошимъ выразительнымъ лбомъ, надъ которымъ пышнымъ ореоломъ поднимаются, зачесанные кверху и сильно уже посѣдѣвшіе волосы. Оно полно экспрессіи и ума и кажется почти молодымъ, благодаря богатству и разнообразію тѣхъ выраженій, что ежеминутно смѣняются на немъ. Только въ молодыхъ, еще непотухшихъ и неутомленныхъ жизнью лицахъ случается наблюдать такую быструю смѣну выраженій и такое яркое отраженіе всѣхъ воспринимаемыхъ

впечатлѣній, на которыя и мысль и вся натура отзываются еще съ полной силой.

Старческія лица именно тѣмъ и печальны, что они однообразны въ своемъ выраженіи и производятъ впечатлѣніе „потухшихъ“, съ которыхъ сбѣжали всѣ краски и замерло только одно утомленно-унылое выраженіе, которое уже почти никогда не покидаетъ ихъ. Но когда лицо полно экспрессіи, постоянно мѣняющейся и вѣчно жизненной, оно кажется молодымъ, какіе бы годы и морщины ни прошли по немъ, потому что указываетъ на такой же молодой, неутомившійся еще духъ, сильный и бодрый. Таково и лицо madame Adam. Не думаю, чтобы она была очень красива когда-нибудь, хотя увѣрена, что она всегда была изъ тѣхъ, про которыхъ говорятъ, что онѣ „лучше красавицъ“, и во всякомъ случаѣ нравящихся больше ихъ. Зато она положительно прекрасна по-своему теперь, особенно послѣ этихъ искусственныхъ масокъ, вмѣсто человѣческихъ лицъ, своихъ раскрашенныхъ соотечественницъ и англичанокъ этихъ мѣстъ, желающихъ во что бы то ни стало казаться молодыми, въ 60 лѣтъ.

Самое поразительное въ ней свойство — это энергія, а если принять во вниманіе, сколько уже потрачено ея на многолѣтнюю борьбу, трудъ и волненія, то невольно изумляешься тому огромному запасу ея, который былъ отпущенъ на

долю этой удивительной женщины, и который до сихъ поръ кажется сохраненнымъ ею во всемъ его объемѣ.

И теперь, какъ и 20 и 30 лѣтъ тому назадъ, она просиживаетъ ночи до трехъ и четырехъ часовъ утра за спѣшной работой и, едва покончивъ съ одной, сейчасъ же принимается за другую.

Она спитъ всего нѣсколько часовъ въ сутки и говоритъ, что такимъ образомъ выгадала у жизни нѣсколько лишнихъ лѣтъ, которыя ей пригодились на гораздо болѣе полезное и пріятное примѣненіе, чѣмъ сонъ, который она признаетъ только, какъ минимальную потребность организма. Кромѣ главной, основной своей работы по изданію и веденію журнала и вообще по литературѣ, она, являясь центромъ цѣлой партіи и нѣсколькихъ кружковъ, должна еще расходовать массу времени и силъ на постоянное общеніе съ ними. Ей приходится принимать множество разныхъ лицъ, давать совѣты всѣмъ обращающимся за ними къ ней по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, руководить молодыми талантами, изъ которыхъ многіе вышли на дорогу извѣстностей и знаменитостей только благодаря тому, что она „открыла“ имъ, такъ сказать, дверь къ тому—своимъ участіемъ и помощью, съ которыми во́-время успѣла притти. Самый ея журналъ „Nouvelle Revue“ былъ предназначенъ

именно для этой цѣли и особенно охотно отдавалъ свои страницы молодымъ, начинающимъ талантамъ. Все это требуетъ обширной корреспонденціи и становится прямо непонятнымъ, какъ у нея еще хватаетъ времени интересоваться и слѣдить за всѣми новинками въ Парижѣ, не только въ области литературы, но также и живописи и театровъ, которые она охотно посѣщаетъ. И при этомъ сохранять всегда свѣжій, бодрый и веселый видъ и горячо откликаться на все, что сколько-нибудь заинтересуетъ ее.

Но главная ея сила и прелесть—это, конечно, въ краснорѣчіи ея, въ дарѣ слова. Несомнѣнно, что она принадлежитъ къ тѣмъ прирожденнымъ ораторамъ, что въ минуту вдохновенія способны увлечь за собою цѣлую толпу и обаянію которыхъ невольно подпадаетъ каждый отдѣльно, кто слушаетъ ихъ. Вы можете расходиться съ ней въ принципѣ, быть о вопросѣ совершенно противоположнаго мнѣнія и даже остаться при немъ, но ея возраженія, ея манера выражать свои мысли, ихъ красота, смѣлость и глубина—невольно захватываютъ и восхищаютъ васъ, даже когда вы несогласны съ нею.

Я не касаюсь здѣсь ни ея общественнаго значенія, ни ея дѣятельности, потому что, поверхностно, это болѣе или менѣе знаютъ всѣ, а говорить объ этомъ подробно, значило бы написать вмѣсто фельетона цѣлую книгу, озаглавивъ

ее „Madame Adam“. Я просто описываю то впечатлѣніе, какое она производитъ чисто внѣшнимъ образомъ, но не могу удержаться отъ того, чтобы не привести здѣсь нѣсколько мыслей, высказанныхъ ею въ наше свиданіе и особенно запомнившихся мнѣ.

Во-первыхъ, какъ одна изъ наиболѣе типичныхъ для той страны и эпохи, въ которыхъ она живетъ и довольно характерно обрисовывающихъ ея личность, это—по вопросу религіи.

Madame Adam выросла и развилась въ семьѣ, отнюдь не отличавшейся религіозностью; не была ею смолоду и не могла сдѣлаться таковою посторонними вліяніями, проведя всю жизнь въ атеистической на половину Франціи, которая въ этомъ смыслѣ отличается, быть-можетъ, большей даже нетерпимостью, чѣмъ другія страны: нетерпимостью невѣрія, которой она чуть не офиціально требуетъ отъ своихъ общественныхъ дѣятелей. И вотъ, при подобныхъ условіяхъ madame Adam имѣетъ мужество (потому что тамъ его требуется для этого, быть-можетъ, даже больше, чѣмъ у насъ для обратнаго) громогласно заявлять, что изъ полной атеистки, каковой была прежде она, постепенно перешла въ глубоко и убѣжденно вѣрующую теперь.

— Я,—сказала она намъ,—нашла своего Бога сама и сама же создала свою вѣру, и потому она мнѣ дороже, чѣмъ для тѣхъ, что получаютъ ее

готовою, съ традиціями дѣтства, по наслѣдству отъ семьи, какъ капиталъ. Эти рѣдко сохраняютъ ее до конца, постепенно утрачивая изъ нея одно звено за другимъ. Я же считаю себя въ этомъ смыслѣ богаче и счастливѣе ихъ, потому что, не получивъ ничего, я пошла сама искать своего Бога и нашла его—понявъ въ концѣ концовъ всю необходимость его для человѣка и человѣчества, и не скрываю того.

Потомъ разговоръ перешелъ почему-то на страданія и смерть, и тутъ ея идеи опять оказались очень своеобразными.

— Какъ вѣрующая, я не боюсь смерти для себя, но она не ужасаетъ меня даже и на другихъ, близкихъ и дорогихъ мнѣ людяхъ. Я нахожу, что смерть нерѣдко, вмѣсто того чтобы отнять отъ насъ дорогое существо, только полнѣе отдаетъ намъ его. Оно дѣлается какъ бы ближе и всегда доступнѣе для насъ, сливаясь съ нашей собственной душой, въ которую переходитъ, исчезая изъ внѣшняго міра, въ которомъ мы часто совсѣмъ разъединены! Тогда какъ жизнь развѣ не отнимаетъ ихъ у насъ еще больше, еще хуже! Она создаетъ порой отчужденіе такое полное и безнадежное, какого не создастъ даже смерть, въ которой остается хоть прошлое! Смерть во всякомъ случаѣ очищаетъ отъ всего мелкаго, случайнаго, недостойнаго, на чемъ мы ломаемъ и портимъ наши лучшія привязанности въ жизни.

Она примиряетъ даже враговъ, а жизнь нерѣдко вооружаетъ даже друзей.

По поводу страданій она сказала слѣдующее:

— Ихъ не слѣдуетъ бояться и избѣгать! Страданіе—это своего рода душевная гимнастика, которая такъ же полезна для нашей души, какъ та, другая, для нашихъ мускуловъ. Она крѣпнетъ и развивается въ нихъ и, быть-можетъ, только благодаря той силѣ, которой они научаютъ насъ, мы можемъ расширить наши душевные и умственные горизонты. Я вѣрю, что каждое горе, каждое страданіе посылается намъ „для чего-нибудь", чего мы не могли бы уяснить себѣ, если бы не прошли чрезъ него. И, кромѣ того, люди растериваются и чувствуютъ себя жалкими, слабыми и безпомощными предъ ними только сначала, пока не выработали еще привычки къ нимъ и силы противостоять имъ. Жизнь же даетъ ихъ такъ много, что поневолѣ развиваетъ эту спасительную привычку. Я видѣла однажды на игольной фабрикѣ, какъ рабочіе протыкали ушки въ иголкахъ. Мнѣ захотѣлось попробовать тоже, но у меня ничего не вышло, и мнѣ показалось это страшно труднымъ, а эти люди дѣлали это такъ просто и легко, почти не глядя... У нихъ выработался извѣстный пріемъ, навыкъ, котораго еще не было у меня, и онъ сдѣлалъ для нихъ легкимъ то, что казалось такимъ труднымъ мнѣ. Такъ и въ страданіяхъ жизнь постоянно выраба-

тываетъ въ насъ приспособляемость къ нимъ и извѣстный пріемъ противостоять имъ. Тогда они уже не сосредоточиваютъ на себѣ всего нашего существа, и, сознавая ихъ, нося даже въ душѣ своей, мы все-таки же можемъ продолжать жить, работать и мыслить, почти не замѣчая ихъ, какъ тѣ работники надъ ушками иголокъ, что дѣлаютъ ихъ, почти уже не глядя...

Всѣ эти мысли въ передачѣ другого, да еще такой бѣглой, утрачиваютъ половину своей характерной красоты и значенія, отъ нихъ остается одинъ остовъ, но когда ихъ произноситъ предъ вами эта женщина, съ своимъ горячимъ убѣжденіемъ, съ жаромъ настоящаго вдохновенія, вспыхивающаго и въ ея глазахъ, и въ интонаціи голоса, и невольно вырвавшемся жестѣ,—онѣ дѣйствуютъ гораздо сильнѣе и непосредственнѣе и невольно захватываютъ васъ. Для оратора мало только владѣть словомъ: надо еще и умѣть сказать его.

Нуженъ соотвѣтствующій жестъ, мимика, голосъ, самый звукъ его. Какъ бы мысли сами по себѣ ни были бы значительны и правильны, но, произнесенныя неумѣло, онѣ не произведутъ большого дѣйствія, и самая блестящая рѣчь по содержанію, но произнесенная безъ воодушевленія, будетъ казаться блѣдной и неубѣдительной.

Вотъ этимъ-то даромъ „одушевленія“, невольно гипнотизирующимъ слушателя, и владѣетъ въ

совершенствѣ Madam Adam. Это уже скорѣй, потомъ, отрѣшившись отъ очарованія гипноза— вы можете находить ее неправой и подвергать критикѣ ея идеи и слова... Но въ ту минуту, когда она произноситъ ихъ предъ вами, она невольно увлекаетъ васъ за собой—что прежде всего и требуется для тѣхъ, кто хочетъ быть общественнымъ дѣятелемъ и такъ или иначе вліять на умы общества и стоять во главѣ извѣстнаго движенія или партіи.

Потомъ мы видѣлись еще нѣсколько разъ съ этой замѣчательной, дѣйствительно, женщиной, въ которой какъ бы вылилась вся высшая интеллектность даровитаго французскаго ума, съ его высокой, вѣками усвоивавшейся цѣлымъ народомъ культурой, дошедшей теперь до высшей точки своей въ его отдѣльныхъ, выдающихся единицахъ. И первое впечатлѣніе, вынесенное мною, не только не портилось и не уменьшалось, какъ это часто бываетъ при дальнѣйшемъ знакомствѣ съ блестящими, но, въ сущности, незначительными людьми, которые, поражая въ первый разъ, часто исчерпываются вполнѣ въ третій. Тутъ обаяніе личности при ближайшемъ соприкосновеніи только укрѣплялось и дѣлалось полнѣе, тѣмъ болѣе что за блестящими, показными, такъ сказать офиціальными сторонами оратора и дѣятеля, невольно проступала простая, милая женщина, въ которой мужской умъ и крупная даро-

витость отлично уживались, какъ бы дополняя и совершенствуя только ея образъ, съ настоящей женственной натурой, полной доброты, порыва и сердечности—тѣмъ болѣе цѣнныхъ и прекрасныхъ, что годы и возрастъ увели изъ нихъ все наносное, мелкое и капризное, нерѣдко свойственное женщинамъ и невольно искажающее даже лучшихъ изъ насъ...

Англичане.

Но мое описаніе Ривьеры было-бы не полно, еслибы я не сказала ничего объ англичанахъ. Ихъ здѣсь слишкомъ много для этого, и они составляютъ слишкомъ крупное и замѣтное пятно на общемъ фонѣ картины, чтобы можно было пройти ихъ молчаніемъ. Но, съ другой стороны, что можно сказать о нихъ? Въ сущности, ихъ только видишь и угадываешь — но почти не знаешь. Они держатся особнякомъ, не говорятъ ни на какомъ другомъ языкѣ, кромѣ своего, а если болѣе общительные изъ нихъ и пытаются говорить на какомъ-нибудь другомъ, то понять ихъ все равно невозможно—такъ они искажаютъ его. Вообще какъ-то трудно представить себѣ англичанина говорящимъ (англичанина, а *не англи-*

чанку—это большая разница). Я могу представить себѣ совершенно свободно француза, декламирующаго цѣлые монологи; нѣмца, произносящаго ученую рѣчь; русскаго, ожесточенно кричащаго въ спорѣ; голландца, спокойно разсуждающаго съ собесѣдникомъ, и поляка тихо нашептывающаго своей дамѣ тѣ милые пустяки, отъ которыхъ у женщинъ начинаетъ сладко кружиться голова,—но я рѣшительно не умѣю представить себѣ англичанина ни въ одномъ изъ этихъ положеній. Мнѣ кажется, что для всѣхъ подобныхъ случаяхъ у нихъ изобрѣтены спеціальныя машины, вполнѣ удовлетворительно выполняющія это за нихъ, они же произносятъ только свое заключительное „o, yes", безъ котораго уже нельзя обойтись въ родѣ того какъ „аминь" завершаетъ молитвы. Зато оно обозначаетъ у него вещи самыя разнообразныя, напримѣръ: „Сегодня прекрасная погода. Вашъ сосѣдъ большой негодяй. У этой дамы стройная фигура. Вы мнѣ надоѣли. Какой чудный видъ. Чортъ бы побралъ (pardon!) проклятыхъ боэровъ. Я васъ люблю!" и т. д. до безконечности. Очевидно, рѣшительно все можно выразить этимъ маленькимъ словечкомъ, при чемъ даже не требуется разнообразить очень интонацію. Это излишняя роскошь, понятно и такъ. Благодаря этому, изученіе англійскаго языка совсѣмъ нетрудно и не беретъ много времени. Разъ что вы выучились

произносить какъ слѣдуетъ „o, yes!“, вы уже можете вести разговоръ довольно свободно.

Итакъ, съ языкомъ мы покончили.

Нравы... это, правда, требуетъ изученія нѣсколько большаго, но я думаю, что приблизительно они „обще-европейскіе“.

Общій видъ—о это уже безусловно, одинаковый у всѣхъ!

Еслибы взять дюжину хорошо вамъ знакомыхъ англичанъ и, перемѣшавъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ, какъ карты быстро спросить: „кто изъ нихъ который?“ сразу никто-бы не отвѣтилъ, потому что, только послѣ того какъ вы внимательно вглядитесь въ ихъ лица и вспомните разныя мелкія „особыя примѣты“ каждаго изъ нихъ—вы можете уже почти безошибочно отличить ихъ другъ отъ друга. Мы всегда удивлялись, какъ они не путаютъ не только одинъ другого, но даже и себя.

Мнѣ кажется, что они не сомнѣваются въ тождественности своей личности—лишь пока находятся въ комнатѣ одни, но едва входитъ въ нее другой англичанинъ, у перваго невольно долженъ самъ собой рождаться тревожный вопросъ: „я это или кто-то другой?“ До такой степени всѣ они похожи теперь другъ на друга.

Рѣшительно у всѣхъ гладко выбритыя лица, благодаря которымъ исчезаетъ всякое указаніе на возрастъ, и его можно угадывать лишь при-

близительно, напримѣръ, такъ: отъ 30 до 50 или отъ 40 до 60, но ошибка на двадцать, пятнадцать лѣтъ всегда легко можетъ произойти.

У всѣхъ тщательно приглаженные волосы и проборы слѣва направо или справа налѣво (иногда даже и посерединѣ, но это уже исключеніе и почти вольнодумство!) и у всѣхъ же каменныя, застывшія въ полной неподвижности физіономіи съ разъ навсегда установленнымъ, вѣроятно, самимъ правительствомъ, выраженіемъ.

Гоненіе на бороды и усы еще большее, чѣмъ у насъ было при Петрѣ.

Только уже совсѣмъ дряхлые старики, да презрѣнные ирландцы, всегда и во всемъ являющіеся нарушителями законовъ, рѣшаются по своей отсталости, украшать себя, этими „остатками варварства“.

Ни одинъ же настоящій, уважающій себя и націю, англичанинъ не допуститъ себя до него и тщательно изгоняетъ съ своей физіономіи всѣ слѣды ихъ.

Это сразу придало ихъ лицамъ что-то грубо-бабское и сдѣлало похожими не то на нашихъ русскихъ мѣнялъ, не то на англійскихъ кучеровъ—но, во всякомъ случаѣ, не на актеровъ хотя, казалось бы, это было-бы естественнѣе всего. Для актеровъ ихъ физіономіи слишкомъ неэкспрессивны и неподвижны.

Особенно хороши и типичны между ними

„молодые“ jeunes mariés, которыхъ почему-то здѣсь особенно много. О, это совсѣмъ особенные новобрачные и вовсе не похожіе на тѣ молодыя, только что выпущенныя въ свѣтъ пары, которыхъ видишь путешествующими послѣ свадьбы въ Швейцаріи и Италіи.

Должно быть, лирическое настроеніе послѣднихъ плохо гармонируетъ, съ тѣмъ что преобладаетъ на Ривьерѣ, и они предпочитаютъ болѣе тихіе и мирные уголки, гдѣ ничто не нарушаетъ той лирики, что поетъ еще свои пѣсни въ ихъ влюбленныхъ сердцахъ.

Новобрачные, пріѣзжающіе совершать свой tour de noce въ эти мѣста,—совсѣмъ „изъ другой оперы“, какъ говорятъ въ Москвѣ.

Мы видѣли ихъ здѣсь нѣсколько паръ, и была-ли это простая случайность или это дѣйствительно результатъ довольно распространеннаго въ Англіи обычая—позднихъ браковъ, но каждый разъ, когда эти „молодые“ представляли вмѣстѣ сложенную сумму доброй сотни лѣтъ—они неизмѣнно оказывались англичанами.

Можетъ быть, это были представители уже вторичныхъ и даже третичныхъ браковъ—я не знаю, но, повидимому, они были очень довольны, чувствовали себя прекрасно, „онѣ“ дѣлали томно-счастливыя лица, нѣжно улыбались своимъ избранникамъ и выходили къ табль-д'оту въ розовыхъ и голубыхъ платьяхъ и въ шляпахъ,

которыя въ модныхъ журналахъ обозначаются подписью „для молодыхъ дѣвушекъ!“.

„Они“ тщательно расчесывали остававшіеся еще у нихъ волосы, душились самыми модными духами, носили свѣтленькіе пиджаки и красныя гвоздики въ петличкахъ, и какъ тѣ, такъ и другіе усердно, хоть и не безъ нѣкотораго труда, ѣздили на велосипедахъ и гуляли на Promenade des Anglais, а вечеромъ отправлялись въ Монте-Карло!

Не быть, хоть два раза въ недѣлю, въ Монте-Карло для англичанина, разъ пріѣхавшаго сюда,— все равно, что не быть въ воскресенье утромъ на богослуженіи, которое, за неимѣніемъ церкви, они наскоро устраиваютъ гдѣ-нибудь по близости, въ залѣ отеля или... ресторана.

Чтобы покончить съ этими бѣглыми описаніями ихъ, позвольте мнѣ немного подурачиться и завершить ихъ... маленькимъ англійскимъ романомъ, снятымъ съ натуры.

Englisch flirt.

Мѣсто дѣйствія — нашъ отель. Декорація— затопленный каминъ и два мягкія кресла подлѣ него,—въ антрактахъ, во время которыхъ дѣйствующія лица невидимы,—синее небо, бирюзо-

вое море и апельсиновые сады Ривьеры... Герой—„бритая личность“—по выраженію покойнаго Горбунова, неопредѣленнаго возраста, приблизительно между 30 и 50 годами.

Когда онъ сидитъ, особенно за обѣдомъ, во время котораго кажется священнодѣйствующимъ,—похожъ по крайней мѣрѣ на товарища министра; но какъ только всталъ и пошелъ, разомъ превращается въ клоуна изъ цирка, безъ ангажемента, очевидно, на эту зиму и потому слегка меланхоличнаго.

Намъ все кажется, что дѣти должны принимать его за большого полишинеля изъ папьемаше, въ натуральную величину съ развинтившимися шалнерами, и что имъ хочется дернуть его за веревочку—какъ тѣхъ. Говоритъ, по обыкновенію всѣхъ своихъ соотечественниковъ, больше нечленораздѣльными звуками, а за обѣдомъ уничтожаетъ массу горчицы и цѣлую груду ростбифа, истекающаго кровью, который для него готовятъ отдѣльно. Другихъ „особыхъ примѣтъ“ не имѣется.

„Она“. Появляется значительно позднѣе. Очень высокая и прямая и, въ противоположность герою, совсѣмъ не двигается. Въ легкой подвижности находятся у нея только голова и руки до локтей—все же остальное кажется „изваяннымъ изъ мрамора“ или просто набитымъ опилками, какъ у куколъ.

Выраженіе лица застыло въ строгой корректности, и русская поговорка „проглотила аршинъ“ какъ нельзя болѣе подходитъ къ ней. Но головка, дѣйствительно, прелестная, которую портитъ только ея „окаменѣлость“ и типичный, англійскій подбородокъ съ характерными выдающимися зубами.

При ней старая, важная и чрезвычайно нарядная, тетушка въ самыхъ модныхъ шляпахъ сезона на тщательно взбитыхъ, пышныхъ, сѣдыхъ волосахъ. Ей, очевидно, хочется походить на французскихъ маркизъ, и она ихъ копируетъ на англійскій ладъ—больше гордой походкой шекспировскихъ королевъ въ исполненіи второстепенныхъ актрисъ и капризно-пренебрежительнымъ выраженіемъ лица.

По прибытіи герои незнакомы между собой, но такъ какъ въ нашемъ отелѣ, вопреки его названію, англичанъ очень мало, то они тотчасъ же замѣчаютъ другъ друга, однако первые два дня только слегка косятъ глазами въ сторону одинъ другого. Чрезъ три дня едва замѣтно наклоняютъ при встрѣчѣ головы, еще чрезъ день-другой—кланяются уже рѣшительно и даже съ оттѣнкомъ улыбокъ.

У героя появляется въ петлицѣ красная гвоздика, и физіономія усиленно выбривается. Героиня продолжаетъ застывать въ своей корректности и только мѣняетъ по три раза въ день

шляпы и платья. Чрезъ недѣлю начинаются уже разговоры, а затѣмъ и общія экскурсіи въ обществѣ неизмѣнной тетушки и двухъ другихъ англійскихъ молодоженовъ, уже достаточно надоѣвшихъ другъ другу за три мѣсяца „свадебнаго путешествія", въ которые они успѣли объѣздить всю Европу, и полъ Африки и теперь были на порогѣ въ Индію, такъ какъ настоящее англійское свадебное путешествіе, располагающее деньгами и временемъ, должно длиться не менѣе года, послѣ котораго возвращаются уже вчетверомъ:—„madame, monsieur, bébé et nourrice".

Послѣ этихъ совмѣстныхъ прогулокъ красота и торжественность бѣдной тетушки, которой давно уже за 60,—значительно теряютъ, но такъ какъ племянница остается послѣ обѣда въ общемъ салонѣ и играетъ „съ нимъ" каждый вечеръ въ шахматы, то тетушка также считаетъ своей священной обязанностью спать не у себя наверху въ удобной постели, а довольно неудобно дремать на виду у всѣхъ въ креслѣ подлѣ камина и только безнадежно вздыхать время отъ времени, мѣняя позы и стараясь поуютнѣе примоститься на немъ. Мы поневолѣ изображаемъ зрителей и, повинуясь отчасти своей профессіи, слегка заинтересовываемся отъ нечего дѣлать этимъ англійскимъ флиртомъ, но черезъ нѣсколько дней находимъ его слишкомъ однообразнымъ, плохо подвигающимся впередъ и

охладѣваемъ въ своемъ интересѣ къ нему. Флиртирующіе сидятъ ежедневно все также молча и неподвижно за своими шахматами, и только время отъ времени то онъ, то она произносятъ громко „о, yes!“ По поводу чего они выражаютъ это трогательное согласіе—остается тайной для всѣхъ, даже для тетушки, которая каждый разъ при этомъ просыпается въ легкомъ испугѣ, бросаетъ въ сторону играющихъ озабоченный взглядъ и нѣсколько минутъ не безъ тревоги прислушивается къ нимъ. Но, убѣдившись, что тамъ снова воцарилось молчаніе, успокоивается и опять засыпаетъ, еще разъ сладко вздохнувъ о постели.

Кромѣ этихъ таинственныхъ, но, кажется, многозначительныхъ „yes“, флиртирующіе обмѣниваются порой еще молчаливыми взглядами, отрывая ихъ для этого на мигъ отъ шахматной доски.

„Онъ“ смотритъ „на нее“ съ такимъ выраженіемъ, которое на языкѣ всякаго другого народа значило бы не больше того, что: „на лбу этой дамы ползаетъ муха“,—но на англійскомъ оно, очевидно, считается нѣжно-страстнымъ и равняется словамъ: „я васъ люблю“.

По крайней мѣрѣ, „она“ всегда на это пріятно улыбается, и эта улыбка (женщины всегда вѣдь экспансивнѣе и болтливѣе!) ясно говоритъ: „О! вы тоже мнѣ нравитесь!“.

Проигравъ такъ часа три подъ рядъ, они поднимаются, складываютъ аккуратно шахматы,

говорятъ другъ другу „good night!“, будятъ бѣдную тетушку, которая даже перестала уже просыпаться совсѣмъ, было, вообразивъ себя въ постели, и расходятся по своимъ комнатамъ.

Вдругъ! охъ, ужъ эти романы, въ нихъ всегда есть это роковое „вдругъ“, которое все разрушаетъ на самомъ интересномъ мѣстѣ.

Вдругъ пріѣзжаетъ мужъ! Очевидно, это вышло сюрпризомъ. Жена, герой, тетушка и скучающіе новобрачные, всѣ совмѣстно уѣхали на какую-то отдаленную прогулку. Мужъ (тоже бритая личность, только немного постарше между 40 уже и 60-ю, повыше и похудѣе) кажется слегка разочарованъ этимъ. Къ тому же по дорогѣ съ нимъ случилось не очень пріятное приключеніе: его обокрали.

Онъ находитъ это столь необычайнымъ и неприличнымъ для цивилизованной страны, что выходитъ даже изъ своего олимпійскаго равнодушія порядочнаго англичанина и громко разсказываетъ нашей хозяйкѣ всю эту исторію. Подъ вліяніемъ возбужденія онъ снисходитъ даже до шутокъ и говоритъ, что своимъ пріѣздомъ хотѣлъ сдѣлать сюрпризъ женѣ—но что воры опередили его и сдѣлали сюрпризъ ему самому!

Хозяйка, полная, живая француженка, очень любящая разныя происшествія, страшно сочувствуетъ, охаетъ, ахаетъ, всплескиваетъ руками, всячески утѣшаетъ потерпѣвшаго, но обмѣни-

вается тревожными взглядами съ своимъ управляющимъ, и повидимому побаивается въ душѣ, что будутъ, пожалуй, еще и другіе воры.

Разсказавъ нѣсколько разъ свое происшествіе и позавтракавъ наединѣ, злополучный мужъ начинаетъ скучать и рѣшаетъ, въ свою очередь, отправиться гулять. Его смущаетъ только его ночная рубашка и туфли, въ которыхъ онъ остался благодаря ворамъ, воспользовавшимся не только его чемоданомъ, но захватившимъ заодно уже и сапоги.

Но хозяйка убѣждаетъ его, что въ такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ—все удобно, тѣмъ болѣе что по дорогѣ онъ можетъ быть найдетъ гдѣ-нибудь башмачника и купитъ у него себѣ новые сапоги.

Потерпѣвшій находитъ это резоннымъ и отправляется.

Въ его отсутствіи возвращается та компанія.

Хозяйка спѣшитъ навстрѣчу и многозначительно предупреждаетъ „миледи“ о сюрпризѣ.

— O! yes!—говоритъ миледи безъ большого удивленія и волненія.

Хозяйка слегка разочарована недостаточно сильнымъ впечатлѣніемъ и спѣшитъ усилить его, сообщая и вторую новость, отъ которой, по ея мнѣнію, всякая истиная женщина должна была бы, по крайней мѣрѣ, въ обморокъ упасть.

— Ou a volé tout! tout!—восклицаетъ она почти

съ пафосомъ и, чтобы полнѣе поразить свою слушательницу, краснорѣчиво описываетъ ей со своей быстрой южно-французской жестикуляціей, какъ ея супругъ пріѣхалъ въ одномъ дорожномъ костюмѣ, въ ночной рубашкѣ и туфляхъ!

Но на англичанку и это не дѣйствуетъ.

— O! yes!—произноситъ она все такъ же невозмутимо, какъ-будто бы хозяйка разсказывала ей о какомъ-то совсѣмъ незнакомомъ ей господинѣ и спокойно удаляется въ свою комнату.

— O! ces anglais!—восклицаетъ возмущенная этимъ англійскимъ равнодушіемъ пылкая француженка.—У нихъ нѣтъ чувствъ! Это куклы, манекены!—рѣшаетъ она, оскорбленная почти въ лучшихъ чувствахъ, и съ негодующимъ видомъ тоже удаляется по своимъ дѣламъ.

За обѣдомъ происходитъ второе дѣйствіе этой маленькой комедіи.

Къ столику англичанки и ея тетушки прибавленъ третій приборъ, и за нимъ возсѣдаетъ мужъ, изъ уваженія къ публикѣ, спиной къ ней, въ виду своего неподходящаго костюма, который все еще не успѣлъ возобновить и чѣмъ, какъ истый англичанинъ, терзается, конечно, гораздо больше, нежели потерей всего остального чемодана, со всѣмъ его содержимымъ.

Флиртирующій англичанинъ, повидимому, тоже

слегка взволнованъ, по крайней мѣрѣ, съѣдаетъ всего по усиленной порціи и съ какимъ-то ожесточеннымъ наслажденіемъ разрѣзываетъ свой кровавый ростбифъ, быть-можетъ, воображая, что это—кусочки поджареннаго мужа.

Зато онъ съ видимымъ удовольствіемъ и не безъ тенденцій поглаживаетъ свой безукоризненный крахмальный воротничокъ (держащій его шею въ настоящихъ тискахъ), вѣроятно, хоть этимъ преимуществомъ утѣшая себя за всѣ остальныя преимущества счастливаго обладателя прелестной англичанки.

Послѣ обѣда... но послѣ обѣда точно такъ же, какъ и всегда, невозмутимая героиня все такъ же спокойно подходитъ къ шахматной доскѣ, раскрываетъ ее и молчаливой улыбкой приглашаетъ своего партнера, чѣмъ тотъ немедленно спѣшитъ воспользоваться. При чемъ въ выраженіи его краснорѣчиваго взгляда, который онъ мимоходомъ бросаетъ на супруга, ясно читается, что эту вечернюю партію онъ считаетъ своимъ законнымъ правомъ и никому не позволитъ нарушать его!

Въ своемъ молчаливомъ краснорѣчіи онъ такъ увлекается, что проходя мимо, очень выразительно толкаетъ мужа въ спину и не извиняется, принявъ его вѣрно за кресло или иностранца, такъ какъ не удостоиваетъ обернуться, чтобы посмотрѣть, кого именно толкнулъ.

Мужъ кажется слегка озадаченнымъ, по всей вѣроятности, онъ предпочелъ бы уйти немедленно въ свою комнату, хотя бы уже для того, чтобы скрыть тамъ свой злополучный костюмъ, сознаніе котораго здѣсь, въ этомъ ярко освѣщенномъ салонѣ, на виду у всего общества, не посвященнаго въ тайну его непріятнаго приключенія, дѣлаетъ его совсѣмъ несчастнымъ.

Но по-своему онъ, кажется, тоже влюбленъ въ свою красивую жену и не имѣетъ силы уйти отъ нея въ первый же вечеръ. Онъ беретъ самую большую газету и садится въ кресло подлѣ камина, стараясь прикрыться ею.

Тетушка кажется взволнованной всѣмъ происходящимъ больше всѣхъ. Сначала она даже рѣшается противостоять соблазнительному сну, тоже беретъ какую-то газету, но скоро глаза ея начинаютъ слипаться, и она, по обыкновенію, погружается въ сладкую дремоту, только болѣе тревожную и чаще, чѣмъ обыкновенно, прерываемую какими-то „внутренними толчками“, просыпаясь отъ которыхъ, она безпокойно оглядывается по сторонамъ.

Въ своихъ креслахъ, по бокамъ камина, они сидятъ, точно двѣ застывшія каріатиды.

Флиртирующіе спокойно играютъ, проходитъ часъ, проходятъ два—они все играютъ. Мужъ уже мѣняетъ шестую газету, тетушка видитъ уже десятый сонъ — вѣрнѣе, кошмаръ, и спаси-

тельная газета давно уже прикрываетъ только ея солидный бюстъ, а они все еще играютъ первую партію и думаютъ надъ каждымъ ходомъ ровно по получасу—вѣрно, нарочно, чтобы продлить минуты своего наслажденія.

Лицо мужа, несмотря на всю его англійскую окаменѣлость, начинаетъ замѣтно бурѣть, а свѣтлые глаза на выкатѣ дѣлаются еще свѣтлѣе, и взгляды ихъ все чаще и нетерпѣливѣе обращаются изъ-за газеты въ сторону играющихъ.

Наконецъ, партія кончена; мужъ съ облегченіемъ вздыхаетъ, но, увы, напрасно.

Черезъ минуту шахматы снова разставляются въ должномъ порядкѣ, и... начинается слѣдующая партія.

Лицо мужа дѣлается бурачно-краснымъ. Онъ комкаетъ ни въ чемъ неповинную газету, сердито отбрасываетъ ее отъ себя и, поднимаясь съ кресла, подходитъ къ женѣ и что-то говоритъ ей довольно нелюбезнымъ тономъ.

— O! yes! — отвѣчаетъ она невозмутимо и продолжаетъ свою партію.

Мужъ поворачивается и уходитъ, потерявъ, очевидно, послѣднее терпѣніе, но прежде онъ обмѣнивается съ партнеромъ жены свирѣпымъ кивкомъ головы, и выразительные взгляды, которые они бросаютъ при этомъ другъ на друга, гораздо больше похожи на то, что они искренно

посылаютъ одинъ другого къ чорту, чѣмъ на пожеланіе „пріятной ночи“.

Тетушка въ испугѣ просыпается, тревожно оглядываетъ всѣхъ и какъ-то подозрительно поднимаетъ глаза къ небу, т.-е. къ потолку, прибѣгая, вѣроятно, уже къ послѣднему средству: къ молитвѣ.

Постепенно всѣ расходятся, уходимъ и мы; въ залѣ остаются только невозмутимые влюбленные, все такъ же хладнокровно и медленно доканчивающіе свою безконечную партію, и тетушка, погруженная въ тяжелые кошмары, у догорѣвшаго камина, а въ коридорахъ бродятъ, какъ мрачныя тѣни и воплощеніе укоряющаго „общественнаго мнѣнія“, недовольныя фигуры дежурныхъ лакеевъ, которые изъ-за нихъ не могутъ уйти спать...

На другой день... На другой день мы уѣхали и, увы, не знаемъ, чѣмъ кончилась послѣдняя глава романа. Но въ воображеніи невольно рисовался такой же молчаливый, но выразительный „боксъ“ между соперниками, каковъ былъ и весь этотъ молчаливый, но очень краснорѣчивый въ своей нѣмой выразительности „англійскій флиртъ“! Но развѣ это не служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что однимъ маленькимъ словечкомъ „yes“ можно выражать по-англійски самыя разнообразныя чувства, примѣнять его въ самыхъ

различныхъ случаяхъ и при помощи его вести съ успѣхомъ не только длинные разговоры о погодѣ, здоровьи и политикѣ, но даже и цѣлые романы? Очевидно, что въ нихъ для англичанъ требуется, пожалуй, словъ даже еще меньше, чѣмъ для того, чтобы заказать себѣ, напримѣръ, сочный, хорошій бифштексъ по собственному вкусу.

Самое удивительное и поучительное въ этомъ— то, что ихъ дамы, вѣроятно, уже многими своими поколѣніями пріученныя къ тому, вполнѣ довольствуются этимъ и ничего другого не требуютъ, зная, вѣрно, уже напередъ всю безполезность подобныхъ требованій.

Но сколько русскихъ мужчинъ, навѣрное, позавидуютъ въ этомъ случаѣ своимъ англійскимъ собратіямъ!

Римъ.

Есть, какъ я уже говорила, великія, магическія слова, сами-по-себѣ полныя такого глубокаго смысла, что въ самомъ звукѣ ихъ есть уже что-то гипнотизирующее, и среди нихъ „Римъ“, быть можетъ, одно изъ самыхъ великихъ.

Кто не мечталъ о немъ, кто не стремился въ него,—я думаю, что между людьми, сколько-нибудь образованными и развитыми, не найдется

ни одного, кто остался бы совершенно равнодушенъ къ возможности очутиться въ немъ.

Мечтали о томъ, конечно, и мы и тѣмъ болѣе я—еще не видѣвшая его, и вотъ, наша мечта, наконецъ, осуществилась—мы въ немъ! Но въ каждой осуществившейся мечтѣ таится свое разочарованіе, которое принесетъ съ собой дѣйствительность, всегда полная разныхъ мелкихъ, непредвидѣнныхъ, но скучныхъ и непріятныхъ подробностей, о которыхъ совсѣмъ не думаешь, пока лелѣешь свою мечту только въ душѣ, но съ которыми неизбѣжно сталкиваешься, когда она осуществляется, т.-е. переводится въ жизнь. И какъ часто наша осуществившаяся мечта—не болѣе какъ одна изъ разрушенныхъ и утраченныхъ иллюзій!..

Про Римъ и то впечатлѣніе, которое онъ оставляетъ—можно сказать что: въ первый день вы непремѣнно чувствуете себя обманутыми въ своихъ ожиданіяхъ; онъ вамъ кажется совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ вы его себѣ представляли, и вы не только разочарованы, но почти огорчены имъ. На второй—вы кое-что уже открываете въ немъ, и онъ слегка примиряетъ васъ съ собой и снова заинтересовываетъ; на третій—онъ уже захватилъ васъ и уже восхищаетъ, а на четвертый—прямо влюбляетъ въ себя.

Мы попадаемъ въ него раннимъ утромъ. На улицахъ еще пустота и послѣ солнца Ривьеры

кажется холодно и непривѣтливо... Освѣщеніе тоже какое-то сѣренькое; отъ домовъ и мостовой тянетъ утренней сыростью, и, несмотря на мѣха, предусмотрительно захваченные нами, мы зябко поеживаемся, тѣмъ болѣе что пробыть такъ на воздухѣ, въ коляскѣ, приходится добрыхъ три часа. Благодаря юбилею папы и Страстной недѣлѣ, съѣздъ иностранцевъ и самихъ итальянцевъ, пріѣзжающихъ сюда на эти дни изъ другихъ провинцій,—огромный, и всѣ отели переполнены. На наше требованіе „двухъ комнатъ"—только безнадежно машутъ рукой; одну кое-гдѣ еще предлагаютъ, но о двухъ не хотятъ и разговаривать Въ нѣкоторыхъ гостиницахъ заняты даже билліардныя и ванны, въ которыхъ временно устроены постели, и, наконецъ, послѣ долгихъ и тщетныхъ поисковъ, мы волей-неволей примиряемся на крохотной, низенькой комнаткѣ, гдѣ тѣсно не только вдвоемъ, но даже и одному. Зато цѣна ея двойная, 15 фр. въ день (съ пенсіономъ) на каждую, въ то время какъ даже на Ривьерѣ, славящейся своей дороговизной, и въ разгаръ сезона въ дорогомъ Болье мы платили всего по 11 фр. Но дѣлать нечего, другого выбора все равно нѣтъ. Единственная прелесть нашей комнатки—это то, что окна ея выходятъ прямо въ садъ, и, несмотря на то, что она помѣщается въ третьемъ этажѣ, изъ нея, чрезъ маленькій коридорчикъ, есть къ нему даже

непосредственный выходъ, которымъ мы, конечно, немедленно и пользуемся. Чрезъ минуту мы уже въ саду,—настоящемъ, римскомъ саду, полномъ вьющихся розъ и лиловыхъ глициній, пышными гроздями завившихъ всѣ стѣны, цвѣтущихъ камелій и тихаго журчанія струящихся фонтановъ. То тутъ, то тамъ бѣлѣютъ среди зелени мраморныя статуи, которыя точно притаились въ своихъ уголкахъ, полузакрытыя плющемъ и розами, заслушавшись лепета воды, и на каждомъ шагу скользятъ веселыя золотисто-зеленыя ящерицы. Ихъ такъ много, что кажется, что онѣ играютъ между собой, то выбѣгая прямо на дорожки и грѣясь въ лучахъ солнца на горячихъ ступеняхъ мраморныхъ лѣстницъ, то при звукѣ шаговъ быстро прячась въ незамѣтныя расщелины, точно какіе-то маленькіе, таинственные духи, внезапно появляющіеся и исчезающіе на глазахъ.

Онъ совсѣмъ не малъ, этотъ садъ, поднимающійся уступами прямо къ подножію знаменитой ихъ Монте-Пинчіо, любимому мѣсту прогулокъ и катаній римлянъ. Когда-то, говорятъ, онъ принадлежалъ дворцу какого-то вельможи, но теперь находится въ собственности нашего отеля и составляетъ его лучшее украшеніе и гордость, въ виду которыхъ набавляются на все полуторныя цѣны. Но онъ такъ хорошъ, такой освѣжающей прохладой вѣетъ отъ него, и онъ представляетъ собой

дѣйствительно такую рѣдкость здѣсь, прямо въ центрѣ пыльнаго, душнаго города, отъ котораго со всѣхъ сторонъ огражденъ высокими, каменными стѣнами, что за него даже и платить не жалко, а за роскошь имѣть его—мы охотно примиряемся съ тѣснотой нашей маленькой келейки, смотрящей въ него.

Несмотря на усталость съ дороги, намъ уже не терпится, и, наскоро проглотивъ нашъ завтракъ, мы нанимаемъ извозчика и рѣшаемъ сдѣлать первый быстрый осмотръ города; моя спутница уже была въ немъ, но нетерпѣніе охватываетъ и ее. Ей хочется скорѣй показать мнѣ все то, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ приводило въ восторгъ ее самое. Но общій видъ современнаго Рима, какъ я уже и говорила, не захватываетъ сразу. Мнѣ страстно хочется проникнуться восторгомъ—и... ничего не выходитъ. Его улицы и некрасивы и нетипичны, особенно по сравненію съ генуэзскими или венеціанскими, гдѣ каждый закоулокъ живописенъ и полонъ своеобразной прелести. Онѣ просто узки, сыроваты, темновато-грязноваты, и при томъ имъ присуще еще одно непріятное свойство—рѣзкость переходовъ между ними. Въ тѣхъ куда проникаетъ солнце,—прямо жарко, тамъ же, гдѣ его нѣтъ, разомъ дѣлается холодно и пронизываетъ непріятной сыростью. Несмотря на кажущееся большое движеніе въ нѣкоторыхъ изъ нихъ (больше благодаря ихъ

узости, изъ-за которой два извозчика, да еще съ трамваемъ въ придачу, уже совершенно загромождаютъ ихъ), они оживленны, по крайней мѣрѣ тѣмъ особеннымъ чисто итальянскимъ оживленіемъ, которое такъ сильно чувствуется напримѣръ въ Генуѣ. Ихъ толпа какая-то точно не итальянская, типы смѣшанные и часто попадаются такія физіономіи, которымъ рѣшительно не стоило родиться въ Римѣ; ихъ достаточно и въ Берлинѣ, и въ Лозаннѣ, и даже у насъ въ Новгородѣ.

Дома по большей части тоже некрасивы, громоздки, построены просто сундуками, и вдобавокъ даже лучшіе изъ нихъ выштукатурены и выкрашены въ ту противную свѣтло-желтую краску, въ какую у насъ въ Россіи окрашиваютъ обыкновенно казенныя зданія. Это такъ не идетъ къ Риму, отъ котораго невольно ждешь большей эстетики, что невольно шокируетъ и почти оскорбляетъ за него...

Лучше другихъ еще новые кварталы; они шире, просторнѣе и доступнѣе для свѣта и воздуха, но это скорѣй еще планы улицъ, чѣмъ настоящія улицы, и на ряду съ огромными и нарядными домами тянутся длинные пустыри. Къ тому же въ нихъ, повидимому, неохотно селятся и, по обыкновенію итальянцевъ, римляне предпочитаютъ имъ свои нездоровые, старые загрязненные кварталы, въ которыхъ населеніе страшно скучено.

Единственно, что украшаетъ Римъ—это обиліе фонтановъ. Они разбросаны рѣшительно повсюду, и на площадяхъ, и у церквей, и просто среди улицъ—то легкіе и граціозные, очевидно новѣйшіе, то роскошные и грандіозные, почти какой-то мрачной красоты, съ отпечаткомъ еще среднихъ вѣковъ, создавшихъ ихъ. Предъ нѣкоторыми изъ нихъ невольно останавливаешься въ восхищеніи, и несомнѣнно, что они—ихъ обиліе, красота и оригинальность—являются послѣ знаменитыхъ развалинъ древняго Рима самой характерной его чертой. Мы колесимъ по всему городу на нашемъ извозчикѣ, вовсе не отличающемся, какъ и всѣ итальянскіе извозчики вообще, большимъ умѣньемъ править и цѣпляющимъ за всѣ рельсы и встрѣчные экипажи,—изъ одной улицы въ другую—и все какъ-то не вѣрится, что этотъ сѣро-желтый некрасивый городъ—Римъ! тотъ самый Римъ, о которомъ чуть не съ дѣтства мечтала душа и который представлялся ей чѣмъ-то необычайнымъ

Моя спутница немножко сконфужена и тоже признается, что и ей Римъ кажется нынче точно какимъ-то инымъ, но убѣждаетъ меня подождать и увѣряетъ, что потомъ я совсѣмъ измѣню мнѣніе.

И она оказывается права даже скорѣй, чѣмъ мы обѣ этого ожидаемъ, потому что въ это время мы подъѣзжаемъ, наконецъ, къ знаменитымъ

развалинамъ его Форума, безъ которыхъ онъ, вѣроятно, никогда бы не получилъ той притягательной силы, какую имѣетъ теперь.

Онѣ показываются совсѣмъ неожиданно; еще за минуту ихъ вовсе не ожидаешь—въ этомъ грохотѣ самаго обыкновеннаго города, съ трамваями, конками и т. п.—и онѣ появляются предъ вами почти такъ же внезапно, какъ море съ Байдарскихъ воротъ. И то волненіе, которое жило въ вашей душѣ, когда вы мечтали о Римѣ, вдали отъ него, которое было въ васъ еще и сегодня утромъ, когда вы только что подъѣзжали къ нему, но которое точно умерло, когда вы, наконецъ, очутились въ немъ,—разомъ снова пробуждается и охватываетъ васъ при открывающемся зрѣлищѣ.

О! теперь вы больше уже не сомнѣваетесь, что вы въ Римѣ; вы чувствуете, что это онъ, именно, онъ лежитъ предъ вами, въ своихъ великихъ развалинахъ, разомъ, точно какъ по волшебству, переносящихъ васъ за тысячелѣтіе назадъ.

Онъ открывается предъ вами узкимъ, длиннымъ четырехугольникомъ, который вы охватываете однимъ взглядомъ, и отчетливо вырисовывается на синевѣ неба всѣми контурами своихъ полуразрушенныхъ дворцовъ и храмовъ и прекраснѣйшими въ мірѣ колоннами, еще уцѣлѣвшихъ мѣстами тутъ и тамъ во всей своей уди-

вительной красотѣ и прекрасныхъ даже и тамъ, гдѣ уже повергнутыя на землю лежатъ гигантскими обломками былого. Всѣ эти камни, вывѣтривавшіеся тысячелѣтіями, пріобрѣли одинъ, общій сѣро-дикій оттѣнокъ, необыкновенно благородный и мягкій, въ которомъ нѣтъ ни одного пятна, которое бы кричало и било въ глаза, нарушая общую, цѣльную картину. Древній Римъ лежитъ значительно ниже современнаго (со всѣхъ сторонъ, какъ рамой обрамляющаго его), лежитъ какъ бы въ углубленіи, но поднимаясь съ боковъ уступами другихъ развалинъ, послѣдующаго образованія, оставшихся отъ Рима уже христіанскаго, съ базиликой св. Константина во главѣ. По рядамъ этихъ уступовъ, возвышающихся другъ надъ другомъ, можно прослѣдить, какъ шло наслоеніе вѣковъ, исторіи и цивилизаціи. Базилика св. Константина, доминирующая надъ верхнимъ рядомъ и поражающая своими размѣрами, въ которые точно хотѣли вмѣстить весь міръ,— возвышается какъ разъ напротивъ дворцовъ Паладиновъ, временъ Нерона и Калигулы; они какъ бы смотрятъ другъ на друга и вопрошаютъ:

— Кто побѣдилъ?

Все это замыкается вдали гигантскимъ кольцомъ Колизея, совершенно круглой формы, въ безчисленныя арки оконъ котораго сквозитъ ярко-синее, римское небо.

И вотъ, повторяю, вы уже не сомнѣваетесь больше, что вы въ Римѣ—вы сознаете и чувствуете это всѣмъ существомъ. Онъ смотритъ на васъ, воскресая предъ вами во всемъ своемъ прошломъ значеніи и величіи и точно стирая настоящее, кажущееся, рядомъ съ этой вопло-

Римъ. Колизей.

щенной въ образѣ страницей вѣчности, такимъ ничтожнымъ и мелкимъ...

Есть минуты, когда душа жаждетъ одиночества, когда мысль не хочетъ дробиться и отвлекаться, и переживать которыя можно развѣ только съ самымъ близкимъ и дорогимъ человѣкомъ, съ которымъ хотѣлось бы слиться въ общемъ настроеніи, и весь этотъ городской шумъ, звонки трамваевъ, приставаніе гидовъ и продавцовъ

фотографій, и даже другіе путешественники, постоянно бродящіе тутъ съ красненькими путеводителями въ рукахъ—невольно раздражаютъ, не давая сосредоточиться, и портятъ цѣлость впечатлѣнія, внося въ него что-то ненужное, назойливое и отвлекающее.

Но, съ другой стороны, въ этомъ контрастѣ современной жизни, съ ея электрическими трамваями, автомобилями, велосипедами, проволоками телефоновъ и телеграфовъ и всей обычной ея сутолокой, идущей тутъ же непосредственно бокъ-о-бокъ съ этимъ застывшимъ сколкомъ вѣчности, точно оторваннымъ отъ нея и брошеннымъ на землю, великимъ даже въ смерти и разрушеніи своемъ, есть что-то захватывающее и подавляющее. Одно какъ бы усиливаетъ и подчеркиваетъ другое и отъ этого, быть можетъ, дѣйствуетъ еще сильнѣе.

Изъ Форума мы заглянули въ Колизей, но описаніе его помѣщу нѣсколько позднѣе, тѣмъ болѣе что въ первый разъ мы почти и не осматривали его, пробывъ тамъ всего нѣсколько минутъ. Начинало уже вечерѣть, солнце садилось, и разомъ стало такъ свѣжо и сыро, что мы поторопились вернуться домой. Эти переходы отъ дневной температуры къ вечерней, нигдѣ, кажется, не бываютъ такъ рѣзки и ощущительны, какъ въ Римѣ. Вы разомъ отъ жары, только что нагрѣвавшей даже камни, точно попадаете въ

холодную воду, медленно просачивающуюся сквозь платье и пронизывающую васъ своей влагой. Говорятъ, что эти переходы особенно рѣзки, именно весной, т.-е. какъ разъ въ то время, когда мы тамъ были, и, вѣроятно, благодаря чему, наша прогулка по Риму въ легкихъ платьяхъ не обошлась намъ даромъ. Мы заплатили обычную дань всѣхъ пріѣзжающихъ сюда и схватили небольшую простуду, особенно я, изъ-за которой слѣдующіе три дня пришлось ограничиваться только нашимъ садомъ и грѣться въ немъ на солнцѣ, вмѣстѣ съ веселыми зелеными ящерицами, скользившими чуть не у нашихъ ногъ.

На наше счастье въ концѣ его была широкая площадка, вся обставленная статуями и обвитая лиловой глициніей, съ которой открывался видъ не болѣе, не менѣе какъ на весь Римъ! Она приходилась какъ разъ надъ той точкой Монте-Панчіо, только нѣсколько ниже, на которую римляне ѣздятъ любоваться панорамой Рима при солнечномъ закатѣ.

И дѣйствительно, это было такое наслажденіе притти туда и смотрѣть съ высоты ея, какъ онъ весь разстилался предъ нашими глазами, окруженный кольцомъ своихъ семи холмовъ. Особенно красиво это бывало въ часы вечерняго заката, когда воздухъ точно подергивался золотисто-розовою пылью, бросавшей свой мягкій

отблескъ на все это море черепичныхъ крышъ. Контуры башенъ и куполовъ вырисовывались съ поразительной отчетливостью на его розовомъ нѣжномъ фонѣ. Во всѣ стороны разстилался широкій, открытый горизонтъ,—мягкими очертаніями уходили въ даль его холмы, и стройные силуэты кипарисовъ и характерныхъ римскихъ пиній (зонтиками) казались на нихъ точно нарисованными... Въ воздухѣ гудѣли колокола, точно у насъ на Руси, и все кругомъ полно было ароматомъ лиловыхъ глициній... Какіе это были чудные часы, полные задумчивой вечерней тишины и покоя!..

Слѣдующіе дни,—четвергъ, пятницу и субботу Страстной недѣли,—мы рѣшили посвятить ознакомленію съ религіозной жизнью города. Какъ глава католической церкви и главный пунктъ ея сосредоточія, въ эти дни Римъ, несомнѣнно, представлялъ особенный интересъ, и мы непремѣнно хотѣли побывать на всѣхъ главныхъ службахъ его и церемоніяхъ, въ которыхъ обрядовая сторона обрисовывалась бы ярче и характернѣе. Но одна изъ самыхъ главныхъ церемоній—омовеніе папою ногъ духовенству—уже нѣсколько лѣтъ не практикуется больше публично. По слабости главнаго ея участника—папы, ее изъ собора перевели въ его личные апартаменты, гдѣ она совершается въ значительно сокращенномъ видѣ. Вмѣсто же ея въ соборѣ Петра и

Павла въ Страстной четвергъ производится другая: торжественное омовеніе духовенствомъ папскаго алтаря, на которую собирается чуть не весь Римъ, и, конечно, стремятся попасть всѣ пріѣзжіе иностранцы.

На этотъ разъ съѣздъ былъ, говорятъ, особенно великъ; по крайней мѣрѣ, по всѣмъ прилегающимъ кварталамъ движеніе трамваевъ было прекращено, и толпа народа и экипажей двигалась густой, непрерывной вереницей.

Мы съ трудомъ добрались до огромной площади собора, залитой народомъ, гдѣ разносчики наскоро продавали неизбѣжные cartes-postales, пальмовыя вѣтви и какія-то короткія палки, на концѣ которыхъ было прикрѣплено что-то въ родѣ кокосовыхъ мочалъ, назначенія которыхъ мы тогда еще не понимали. Соборъ тоже былъ переполненъ публикой, хотя онъ такъ великъ, что несмотря на тысячи народа, находившагося тамъ, въ немъ, за исключеніемъ главной, центральной части его, гдѣ происходило богослуженіе, можно было двигаться вполнѣ свободно, но зато ничего не видѣть.

Слышались только звуки органа и пѣніе, но что тамъ происходило, разсмотрѣть за сплошной массой народа было рѣшительно невозможно. Впрочемъ, большинство публики, особенно „своей, римской“, повидимому, мало и интересовалось этимъ. Всѣ ходили, разговаривали довольно

громко, встрѣчавшіеся знакомые здоровались, останавливались группами, болтали, смѣялись, кажется, даже флиртировали—но только не молились. Иностранцы церемонились еще меньше: они вставали на скамьи и стулья и, запасшись биноклемъ, старались разсмотрѣть что-нибудь чрезъ головы другихъ.

Мы забрались въ самый отдаленный уголъ собора, гдѣ на ступенькахъ придѣла сидѣло нѣсколько безмолвныхъ, темныхъ женскихъ фигуръ, повидимому, настоящихъ уже итальянокъ и при томъ пожилыхъ; онѣ внимательно прислушивались къ звукамъ хора и органа и, слѣдя по своимъ молитвенникамъ за богослуженіемъ, тихо шептали про себя молитвы. Двѣ изъ нихъ подвинулись и дали намъ мѣсто подлѣ себя. Мы сѣли и, незамѣтно присматриваясь къ нимъ, тоже невольно заслушались чуднаго пѣнія. Оно дѣйствительно было прекрасно. Намъ казалось, что это былъ хоръ женскихъ голосовъ, высокихъ, чистыхъ и свѣжихъ сопрано, какіе бываютъ только у очень молодыхъ женщинъ, но изъ разспросовъ и по наведеннымъ потомъ справкамъ выяснилось нѣчто совсѣмъ другое, совершенно поразившее насъ. Это былъ хоръ юношей или, вѣрнѣе, даже взрослыхъ мужчинъ, голоса которыхъ, благодаря дикому обычаю, продолжающему и нынѣ держаться такъ же, какъ и въ среднихъ вѣкахъ, искусственнымъ способомъ сохраняются

высокими и чистыми, какъ у женщинъ, почти дѣвическими. Хоръ, пѣвшій тогда въ соборѣ Петра и Павла, былъ собственностью штата самого папы, но потомъ мы слышали точно такіе же хоры и въ другихъ церквахъ, такъ что, какъ это ни нелѣпо, но обычай этотъ очень распро-

Римъ. Соборъ св. Петра и Павла.

страненъ и, повидимому, никого особенно не удивляетъ и не шокируетъ.

Изъ нашего уголка мы случайно могли такъ же наблюдать два теченія, двѣ, такъ сказать, психологіи римскаго монашествующаго духовенства. Какъ разъ напротивъ насъ по бокамъ ниши, съ двухъ ея сторонъ, стояло два монаха. Одинъ уже старый, толстый и типичный, съ лоснящимся

краснымъ лицомъ, съ хорошо откормленнымъ брюшкомъ подъ коричневой рясой, подвязанной веревкой, и въ сандаліяхъ на босыхъ (по требованіямъ ордена) ногахъ, машинально перебиралъ четки и благодушно подремывалъ, просыпаясь лишь время отъ времени, и тогда сквозь сладкое позѣвыванье бормоталъ какія-то молитвы. Такихъ мы видѣли въ Римѣ и раньше и послѣ очень много, и они недаромъ уже много разъ служили юмористической темой для жанровыхъ картинокъ художниковъ. Другой же юноша, почти еще мальчикъ, лѣтъ 17—18 не больше, съ блѣднымъ аскетическимъ лицомъ и пламенными глазами фанатика и проповѣдника, служилъ поразительнымъ контрастомъ съ первымъ. Онъ стоялъ, какъ черное изваяніе, въ своемъ углу, не шевелясь, не отрывая глазъ отъ сводовъ храма, которые точно разверзлись для него, и онъ видѣлъ въ нихъ, казалось, небо и сонмы ангеловъ его, и весь точно застылъ въ своемъ мистическомъ экстазѣ. Среди этой равнодушной толпы, разгуливавшей и болтавшей, подлѣ этого собрата своего по рясѣ, съ благодушно-животнымъ видомъ дремавшаго рядомъ съ нимъ, онъ казался какимъ-то святымъ подвижникомъ церкви, однимъ изъ тѣхъ, которые съ восторгомъ шли во имя ея на всякія муки и пытки и въ нихъ видѣли лучшій вѣнецъ для себя... Смотря на него, невольно приходило въ голову, что пока

подобные прирожденные фанатики могутъ встрѣчаться даже среди самой юной молодежи, церковь эта еще долго будетъ сильна страстными послѣдователями и борцами, готовыми на все за идею ея.

Однако, мнѣ хотѣлось во что бы то ни стало увидѣть церемонію, и я все придумывала, какъ устроить это.

Самое вѣрное, простое и въ то же время всегда наиболѣе сильно дѣйствующее, заключалось, конечно, въ видѣ новенькаго франка или двухъ, которые надо было только найти „кому" дать. Но, къ моему изумленію, на этотъ разъ даже и оно оказалось недѣйствительнымъ, и сторожъ, стоявшій на стражѣ порога, задергивавшагося съ одной изъ сторонъ малиновой, бархатной занавѣсью, отдѣлявшей „оглашенныхъ" отъ избранныхъ, присутствовавшихъ при самомъ торжествѣ, оказался непреклоннымъ. Но какой-то толстенькій, коротенькій, точно надрѣзанный монахъ съ пробритымъ черепомъ и масляными глазами, имѣвшій тамъ какую-то власть, сжалился надо мною и провелъ меня не только сквозь непроницаемую завѣсу, но даже прямо наверхъ, на хоры, гдѣ былъ устроенъ рядъ ложъ для посольства, съ которыхъ все было прекрасно видно первому ряду, а второй безцеремонно стоялъ опять-таки же на стульяхъ и скамьяхъ.

Я подоспѣла какъ разъ во-время. Церемонія

только что началась. Все духовенство собралось на возвышеніи и, выстроившись парами, направилось подъ звуки пѣнія и органа къ священному алтарю, стоявшему посреди собора. Въ сущности это былъ простой, выкрашенный въ бѣлую краску съ золотыми украшеніями столъ, или, вѣрнѣе, родъ ящика, опрокинутаго дномъ наверхъ, съ котораго на этотъ разъ были сняты всѣ покрывающіе его обычно дорогіе покровы, чаши, канделябры и т. п. Къ нему и направилось шествіе. Впереди шло самое молодое духовенство, все въ бѣломъ, по возрасту почти такіе же юноши, какъ и тотъ, что такъ страстно молился въ нашемъ углу. За этими слѣдовали старшіе и замыкали шествіе, наконецъ, торжественные кардиналы, въ красныхъ и лиловыхъ мантіяхъ. У всѣхъ въ рукахъ были длинныя бѣлыя полотенцы и палки съ кокосовыми мочалами на концѣ, одинаковыя съ тѣми, что продавали на площади предъ соборомъ. Подходя сразу по нѣсколько паръ, они поднимались съ колѣнопреклоненіемъ на нѣсколько ступенекъ, ведшихъ къ алтарю, и потомъ проводили по немъ своими палками, дѣлая видъ, что моютъ его. Затѣмъ опять съ такимъ же колѣнопреклоненіемъ отступали, давая очередь другимъ, и такъ до конца, до кардиналовъ, дѣлавшихъ то же самое. То же самое повторилось и съ полотенцами, которыми будто бы вытирали его; продѣлавъ это, всѣ встали кругомъ

алтаря, старшій изъ всѣхъ, поддерживаемый подъ руки двумя другими, проговорилъ какія-то молитвы, потомъ опять всѣ колѣнопреклонились, и подъ тѣ же звуки органа и пѣнія шествіе въ томъ же порядкѣ (только уже со старшими во главѣ) направилось обратно. Вотъ и все. Послѣ этого всѣ двинулись изъ собора; освѣщеніе (исключительно почти электрическое) разомъ уменьшили, и все кончилось. По правдѣ сказать, и торжественнаго и интереснаго было немного.

Картина, открывшаяся затѣмъ при выходѣ изъ собора на толпы расходящагося народа, тоже не представляла ничего особеннаго. Освѣщеніе отъ электрическихъ канделябровъ посреди площади было недостаточно, казалось темно и все сливалось въ общую, движущуюся, но темную массу, и выходъ народа изъ церквей у насъ въ тотъ же Страстной четвергъ, когда всѣ расходятся со свѣчами въ рукахъ, и огоньки колеблющимися линіями движутся въ темнотѣ во всѣ стороны,— несравненно красивѣе и эффектнѣе. Вообще тѣмъ иностранцамъ, что нарочно пріѣзжаютъ на эти дни въ Римъ, чтобы видѣть, такъ сказать, „couleur locale“ всѣхъ этихъ праздниковъ, обычаевъ и обрядовъ, я бы посовѣтовала ѣздить для этого не сюда, а въ ту же Москву, Нижній или Кіевъ. Они увидятъ тамъ гораздо больше типичнаго и интереснаго; въ Римѣ же, какъ это ни странно, въ сущности ни въ чемъ не чувствуется значеніе

этихъ дней. Ни на улицахъ, ни въ церквахъ, ни въ домахъ не замѣтно никакихъ приготовленій, никакого необычнаго настроенія; все точно такъ же, какъ и всегда; правда, идетъ нѣсколько больше службъ по церквамъ; но и тѣ не отличаются ни торжественностью, ни многолюдствомъ и посѣщаются больше любопытствующими иностранцами. Въ нашемъ отелѣ стояли, между прочимъ, пара милыхъ польскихъ старичковъ, какихъ-то супруговъ изъ Варшавы, еще напоминавшихъ блаженныя времена Пульхеріи Ивановны и Аѳанасія Ивановича, нечаянно попавшихъ въ XX столѣтіе, да къ тому же въ космополитическій Римъ. Они пріѣхали сюда по обѣту, нарочно, чтобы присутствовать „въ самомъ сердцѣ святой церкви, на Страстяхъ Господнихъ“, и были теперь въ полномъ огорченіи. Если бы они знали, что такъ будетъ, говорили они въ искреннемъ, негодующемъ отчаяніи, то никогда бы не уѣхали изъ своей милой Варшавы „на такіе великіе дни, которыхъ тутъ точно и нѣтъ совсѣмъ“. Бѣдные старички были такъ огорчены, что даже и намъ были рады, даже и на насъ, русскихъ, готовы были смотрѣть, какъ на родныя души изъ общей земли. Мы, конечно, тоже всей душой готовы были, какъ могли, утѣшить ихъ и служить имъ, чтобъ они не чувствовали себя уже окончательно одинокими и оторванными тутъ, на чужбинѣ, отъ всего родного имъ. Особенно

оскорбляло ихъ отсутствіе плащаницъ, которыя такъ старательно украшаются въ Россіи и въ Польшѣ. Вмѣсто нихъ выставляется простой, небольшихъ размѣровъ крестъ съ изображеніемъ распятія. Онъ кладется прямо на полъ, у одного изъ предѣловъ, такъ что верхъ его помѣщается на нижней ступени, а низъ прямо на полу, и подлѣ ставится тарелочка для сбора денегъ съ прикладывающихся. Такая спартанская простота поразила и насъ, и мы не понимали, чѣмъ объяснить ее, тѣмъ болѣе что въ своихъ католическихъ церквахъ наблюдали совсѣмъ другое! Самое характерное, что мы видѣли за эти дни въ этомъ отношеніи, была, пожалуй, знаменитая лѣстница одной изъ церквей; къ сожалѣнію, я забыла ея названіе. По преданію, въ эту церковь первоначально былъ привезенъ Святой Крестъ изъ Іерусалима царемъ Константиномъ и Еленою, и въ память этого, къ мѣсту, на которомъ онъ когда-то былъ водруженъ, вѣрующіе поднимаются не иначе, какъ на колѣняхъ, хотя къ нему ведетъ крутая лѣстница не менѣе какъ въ тридцать ступеней. И вотъ, мы видѣли, какъ эта живая пирамида усердствующихъ медленно, густою вереницей двигалась по ней вверхъ, ища въ своемъ подвигѣ прощенія за грѣхи и спасеніе отъ „напастей“. По крайней мѣрѣ, такъ ей было обѣщано тутъ же наклеенными повсюду объявленіями, походившими на театральныя афиши. Онѣ

гласили, что за каждое такое „восхожденіе“ церковь ручается имъ за отпущеніе грѣховъ нѣсколькихъ лѣтъ („цифру“ сейчасъ уже не помню, но что-то очень щедрая). Стоитъ только поусердствовать и проползти на колѣняхъ 30 ступеней магической лѣстницы (но именно этой, а не какой другой), и всѣ погрѣшности, грѣхи и даже преступленія, если вы ихъ совершали за послѣднія 10—15 лѣтъ, идутъ не въ счетъ! По части подобныхъ обѣщаній и объявленій нѣкоторыя прямо поражаютъ своей наивностью и курьезностью, иногда прямо не вѣрится, что это дѣлается въ серьезъ, и невольно ищешь тутъ насмѣшки. Въ одной изъ церквей мы видѣли объявленіе, запросто вывѣшенное на стѣнахъ у входа, въ которомъ оставшимся родственникамъ предлагалось, что въ случаѣ если они желаютъ облегчить ихъ усопшимъ скорѣйшій и свободный входъ въ рай, внести на молитвы о томъ такую-то плату (что-то опять-таки очень невысокую, вѣрно, для того, чтобы желающихъ было больше), а если они желаютъ обезпечить таковой же входъ заранѣе и для себя, то плата увеличивается вдвое! Интересно было бы знать, много ли находится желающихъ обезпечивать себѣ „заранѣе“ подобный входъ. Чтобы закончить съ современнымъ Святымъ Римомъ, мы отправились взглянуть на знаменитое кладбище капуциновъ, на которое, намъ говорили, необходимо посмотрѣть.

Оно помѣщается въ ихъ монастырѣ, и ходъ къ нему идетъ прямо изъ церкви разными коридорами и переходами, спускающимися все ниже и ниже къ тому подземелью, гдѣ оно устроено. Состоитъ оно изъ ряда небольшихъ, низкихъ комнатъ въ родѣ келій; свѣтъ тускло льется въ нихъ изъ небольшихъ, мутныхъ оконъ, сдѣланныхъ, какъ въ тюрьмахъ, прямо подъ потолкомъ. Въ стѣнахъ продѣланы ниши, и въ нихъ стоятъ, сидятъ и лежатъ какія-то странныя человѣческія фигуры въ длинныхъ коричневыхъ рясахъ. Всматриваясь, вы видите, какъ изъ-подъ этихъ полуистлѣвшихъ рясъ выходятъ сложенныя на груди костлявыя руки скелетовъ, а изъ-подъ накинутыхъ на головахъ капюшоновъ, съ печальными и горькими усмѣшками, смотрятъ пустыя, темныя впадины глазъ... Одни стоятъ, точно молятся, поднявъ или опустивъ свои мертвыя головы; другіе сидятъ, задумчиво и спокойно, почти уютно, какъ бы присѣвъ отдохнуть послѣ долгаго жизненнаго пути; третьи, вѣроятно, болѣе избранные и почетные, покоятся лежа, точно спятъ... У нѣкоторыхъ еще сохранились слѣды бородъ вокругъ истлѣвшихъ ртовъ съ обнаженными зубами, и волосъ, прилипшихъ къ желтымъ, землистымъ костямъ... и кажется, что они что-то тихо шепчутъ про себя, точно подзываютъ къ себѣ и хотятъ что-то разсказать, быть можетъ, свои печальныя или страшныя исторіи, уведшія

ихъ изъ міра живыхъ и терзавшія ихъ души при жизни...

Всѣ стѣны и потолки покрыты затѣйливой мозаикой изъ тѣхъ же человѣческихъ костей уже въ конецъ разсыпавшихся скелетовъ; изъ нихъ выведены угольные узоры по-своему художественные, но странные, надъ которыми кто-то старался, кто-то изощрялъ свою фантазію и талантъ; изъ нихъ же сдѣланы и лампады, теплющіяся въ черепахъ и тихо покачивающіяся отъ дуновенія при звукѣ шаговъ и голосовъ живыхъ, гулко раздающихся подъ сводами. Въ углахъ сложены еще цѣлыя груды костей, но тоже не просто, а изображая то колонны, то пирамиды, постоянно разсыпающіяся, благодаря туристамъ, разбирающимъ ихъ на память... И такихъ комнатъ, полныхъ этихъ украшеній изъ человѣческихъ костей, молящихся скелетовъ и какой-то странной жуткой тишины, точно пропитанной невидимой пылью тлѣнья— нѣсколько.

Громкіе голоса живыхъ кажутся здѣсь кощунствомъ; вы инстинктивно стараетесь заглушить въ себѣ бьющую въ васъ жизненность, съ ея громкимъ говоромъ, быстрыми движеніями и непосредственно перебѣгающими мыслями и со страннымъ жуткимъ любопытствомъ вглядываетесь въ эти истлѣвшіе скелеты, когда-то такъ же полные жизнью, какъ и вы сами теперь— такъ же смѣявшіеся, говорившіе и чувствовавшіе,

какъ и вы—такіе же неизбѣжные скелеты въ будущемъ, какъ и они...

И съ какой радостью, съ какимъ восторгомъ почти вырываетесь вы потомъ изъ этихъ мрачныхъ подземелій опять на Божій свѣтъ, подъ яркое, синее небо, на горячее южное солнце, все заливающее кругомъ своей могучей жизнью и ликованіемъ. Невольно хочется куда-нибудь въ зелень, въ рощи, въ сады, гдѣ цвѣли бы яркіе душистые цвѣты, пѣли бы веселыя птицы свои весеннія пѣсни любви, и все кругомъ было бы залито тепломъ и свѣтомъ, и полно торжествующей жизни.

И мы рѣшаемъ ѣхать въ виллу Боргезе, въ которой жила когда-то знаменитая Полина Боргезе, сестра Наполеона. Она стоитъ на Монте Пингіо, лежащей уже почти за городомъ. Вы разомъ перебрасываетесь изъ душнаго города, съ его пыльными, узкими улицами и громадами каменныхъ домовъ, въ просторъ полей и молодыхъ, только что распускающихся рощъ. Кругомъ яркая, сочная трава, усѣянная вся, какъ звѣздами, бѣлыми маргаритками, этимъ настоящимъ цвѣткомъ полей Италіи, засыпавшимъ всю страну своими маленькими, радостными цвѣтами. Небо отъ контраста съ этой зеленью кажется здѣсь еще ярче, еще синѣе; бѣлые клубы густыхъ облаковъ, точно пронизанныхъ насквозь солнцемъ, высоко плывутъ въ его лазури, а острыя иглы темныхъ

кипарисовъ и раскинувшихся широкими зонтиками римскихъ пиній рѣзче вырисовываются на немъ. И тутъ же, рядомъ съ ихъ густой, темной зеленью, сквозитъ другая, прозрачная и нѣжная, только что распускающихся весеннихъ рощъ, въ которыхъ обрисовывается еще каждый молодой листокъ. Въ прудахъ плаваютъ бѣлые лебеди, въ воздухѣ воркуютъ что-то своимъ голубкамъ хохлатые голуби, и вездѣ журчатъ фонтаны и льются холодныя, свѣтлыя струи водъ изъ мраморныхъ масокъ въ стѣнахъ, завитыхъ плющемъ и окруженныхъ цвѣтущими камеліями. Пейзажъ совсѣмъ Беклиновскій даже по густотѣ и сочности этихъ яркихъ, блещущихъ красокъ, смотря на которыя, лучше, чѣмъ когда-нибудь, начинаешь цѣнить и понимать этого великаго художника. Когда мнѣ случалось видѣть его картины подъ нашимъ тусклымъ сѣрымъ небомъ и даже въ Германіи—я не вѣрила имъ; онѣ казались мнѣ кричащими и преувеличенными. Зато теперь я имъ повѣрила уже вполнѣ и поняла, сколько въ нихъ силы, жизненности и правды, но жизненности, не похожей на нашу, а совсѣмъ другой, яркой, могучей, торжествующей, точно гимнъ природы, котораго заслушалась сама она!

Въ тотъ же день, вечеромъ, намъ предстояло другое зрѣлище: концертъ въ Колизеѣ и освѣщеніе его бенгальскими огнями, что, по отзыву всѣхъ, уже видѣвшихъ это, было дѣйствительно

особенно эффектно, хотя время, выбранное для подобнаго празднества—вечеръ Страстной субботы—показалось намъ опять нѣсколько страннымъ. Но—въ каждой странѣ свои обычаи, и путешественникамъ лучше наблюдать ихъ, чѣмъ критиковать. Представленіе было назначено въ 9 часовъ вечера, но скопленіе экипажей по прилегающимъ тѣснымъ улицамъ было такъ велико, что приходилось все время двигаться шагомъ, и мы попали только въ половинѣ десятаго, хотя выѣхали вполнѣ заблаговременно. Масса пѣшеходовъ тоже двигалась по тому же направленію къ Колизею, а на окружающихъ его пустыряхъ столпились цѣлыя толпы въ ожиданіи зрѣлища, до которыхъ современные римляне, очевидно, такіе же охотники, какъ и ихъ отдаленные предки во времена Нерона.

Подъ пологомъ южной, мягкой, точно насквозь пропитанной тепломъ, ночи весь этотъ людъ весело болтаетъ, шутитъ, смѣется; то тутъ, то тамъ вспыхиваютъ огоньки сигаръ; слышатся чьи-то отдѣльные голоса, крики разносчиковъ съ апельсинами, газетами и неизбѣжными cartes-postal'ями, изъ продажи которыхъ образовалась цѣлая новая отрасль торговли, почти совсѣмъ уничтожившая прежнюю торговлю фотографіями.

Но эта толпа производитъ впечатлѣніе гораздо болѣе выдержанной и дисциплинированной, чѣмъ та, что намъ случалось наблюдать въ Генуѣ. Въ

ней меньше шума, меньше оживленія, и по общему складу своей психологіи она уже гораздо больше приближается къ сѣверной, чѣмъ ея генуэзскіе или венеціанскіе собратья. На послѣдней улицѣ какіе-то субъекты съ бляхами на груди, что-то въ родѣ комиссіонеровъ, отбираютъ у подъѣзжающей публики билеты, послѣ чего входъ уже безпрепятственъ.

Концертъ уже начался, когда мы вошли, но, говоря правду, мы мало интересуемся имъ, зная напередъ, несмотря на краснорѣчивыя обѣщанія афишъ, что онъ не представляетъ ничего особеннаго.

Несмотря на то, что публики собралось нѣсколько тысячъ, Колизей такъ громаденъ, что наполнена и освѣщена только небольшая часть его; остальное сливается и тонетъ въ полумракѣ. На одной изъ среднихъ частей его устроены наскоро подмостки для оркестра и хора, освѣщенные рѣзкими, ничѣмъ незащищенными и бьющими въ глаза электрическими лампочками, тоже сооруженными лишь на этотъ вечеръ. Входъ по 3 франка, что по итальянскимъ цѣнамъ (въ театры и т. п.) вовсе не мало, особенно если принять въ соображеніе, что это буквально только „входъ", потому что мѣстъ для сидѣнья не полагается, и публикѣ предоставляется устраиваться, какъ она сама пожелаетъ. Мы были своевременно предупреждены объ этомъ швейцаромъ

нашего отеля и запаслись маленькими складными стульями, конечно, очень намъ пригодившимися, такъ какъ все представленіе тянулось около двухъ часовъ. Мы примащиваемся на нихъ въ одной изъ полуразрушившихся ложъ, въ которыхъ когда-то возсѣдали древніе римляне; большинство публики имѣетъ такіе же стульчики, отдающіеся на прокатъ здѣсь же у входа, по нѣсколько сантимовъ за штуку. Остальные лѣпятся, какъ придется, по каменнымъ выступамъ стѣнъ, кольцеобразными ярусами подымающимися другъ надъ другомъ, безсознательно для себя представляя живописныя группы, а все вмѣстѣ оригинальную и красивую картину. Концы ея съ обѣихъ сторонъ уходятъ двумя гигантскими крылами въ темную глубь незаполненной части, кажущейся какой-то таинственной и странно-мрачной по сравненію съ этой, залитой огнемъ и гуломъ народа.

Невольно разыгрывается фантазія, и начинаетъ казаться, что тамъ, въ этой таинственной и темной пустотѣ, беззвучно рѣютъ невидимыми тѣнями, давно отлетѣвшими въ вѣчность, другіе зрители, когда-то наполнявшіе эти самыя стѣны своею пестрою и шумною толпой. Стѣны, цѣлыми тысячелѣтіями пережившія тѣхъ, что воздвигали ихъ въ своей гордынѣ, тщеславіи и силѣ! Но кто знаетъ, не сохранись эти полуразрушенные, безмолвные свидѣтели былыхъ временъ,

и, быть можетъ, никто не говорилъ бы теперь и о тѣхъ, что, воздвигнувъ ихъ, исчезли въ глубинѣ вѣковъ, стертые, какъ и все остальное, „всесокрушающей рукой“ времени, но оставившіе послѣ себя великій слѣдъ—эти нѣмые камни...

И какъ ничтожны и мелки показались бы имъ, вѣрно, забавы и развлеченія ихъ правнуковъ, отдѣленныхъ отъ нихъ всего какихъ-нибудь двумя тысячами лѣтъ, этимъ мгновеніемъ въ вѣчности, имъ, уже перешедшимъ въ нее, и на глазахъ которыхъ живые львы и тигры растерзывали живыхъ же людей, спокойно выходившихъ навстрѣчу страшной смерти съ радостныхъ пѣніемъ псалмовъ!

Какъ все измѣнилось съ тѣхъ поръ! Теперь на той же самой аренѣ возвышаются лишь жалкія, но зато невинныя подмостки, на которыхъ, собранные случайно, отовсюду „артисты“ въ котелкахъ и гороховыхъ пальто разыгриваютъ за 10 франковъ въ вечеръ увертюры изъ „Паяцевъ“ и „Сельской чести“ предъ публикой, которая во всякомъ случаѣ предпочитаетъ лучше безопасно слушать ихъ заигранныя мелодіи, чѣмъ давать себя кушать тиграмъ и львамъ или даже только глядѣть на это. Кругомъ насъ раздаются языки всего, кажется, міра. Еще нигдѣ и никогда не случалось намъ слышать ихъ столько заразъ. Настоящее „смѣшеніе языцевъ“! Звучитъ

подлѣ то англійскій, то французскій, тутъ же нѣмецкій, русскій, голландскій, испанскій и т. д., но преобладаетъ все-таки, надо отдать справедливость, итальянскій.

Первая часть празднества проходитъ, какъ я уже говорила, въ посредственномъ исполненіи разныхъ посредственныхъ музыкальныхъ номеровъ, и ею мало кто интересуется, почти даже не слушая. Всѣ ходятъ, болтаютъ, разсматриваютъ другъ друга, и въ толпѣ стоитъ непрерывный гулъ, совершенно почти заглушающій звуки музыки. Но вотъ, наконецъ, и вторая часть, для которой въ сущности только и собрались всѣ сюда.

Едва кончился концертъ, тотчасъ же потушили всѣ электрическія лампочки, и разомъ настала темнота, сначала, отъ рѣзкаго перехода послѣ свѣта, показавшаяся почти черной. Но уже черезъ минуту она какъ бы разсѣялась, поблѣднѣла, и въ безчисленныя воздушныя арки оконъ, точно заглядывая въ нихъ, замерцали яркія, южныя звѣзды... Вдругъ эти вѣковыя, круглыя, какъ кольцо, стѣны какъ-то дрогнули и въ ту же минуту сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ вспыхнули багровымъ пламенемъ и заклубились темными клубами дыма. Картина разомъ измѣнилась и стала не только красивой и эффектной, но почти потрясающей. И опять, какъ по волшебству, воображеніе перекинулось за много вѣковъ на-

задъ, когда пылалъ въ борьбѣ съ христіанствомъ Римъ языческій, отживающій и точно очистившійся и принявшій крещеніе свое въ томъ адскомъ пожарѣ. Все примолкло, захваченное вдругъ однимъ общимъ настроеніемъ и, какъ загипнотизированное, глядѣло на эти пылающія стѣны, въ разрушенныя арки которыхъ уже не сквозило больше небо и не заглядывали звѣзды, закутанныя, какъ флеромъ, чернымъ дымомъ. Дымомъ былъ затянутъ и разстилавшійся надъ головами звѣздный пологъ, а огненные языки гигантскимъ кольцомъ вырываясь изъ верхняго яруса, точно грозили самому небу и бросали ему страшный вызовъ.

Когда все потухло, опять настала полная бездонная темнота и погребла въ себѣ цѣлый міръ видѣній. Но толпа медлила расходиться, даже не рѣшалась еще заговорить, и только уже черезъ нѣсколько минутъ все снова зашевелилось, заговорило и двинулось къ выходамъ. Мы нарочно медлили. Какъ-то жаль было уходить изъ этого страннаго міра видѣній, жаль разрушать его, возвращаясь опять къ обычной дѣйствительности, простой и скучной... Казалось, мы только-что воочію, своими глазами, видѣли это прошлое, безконечно далекое и страшное одновременно... Мы точно ощущали его, оно прошло по насъ цѣлымъ рядомъ картинъ и воспоминаній, возставшихъ изъ мрака скрывающихъ его вѣковъ

въ этомъ багровомъ пламени огня, на мигъ освѣтившемъ его и какъ бы снова призвавшемъ къ жизни. Но потухъ огонь—и исчезло снова и оно... „Мигъ одинъ — и нѣтъ волшебной сказки“...

Мы останавливаемся у одного изъ главныхъ выходовъ и смотримъ на выходящую толпу. Передъ нами точно дефилируютъ народы; опять слышатся всевозможные языки и нарѣчія и мелькаютъ самые разнохарактерные типы. Общаго только одежда, одинаковая на всѣхъ, это одна изъ самыхъ скучныхъ чертъ современной цивилизаціи, въ которой стирается и утрачивается всякая характерность національности.

Постепенно всѣ расходятся. Разсѣивается и дымъ, и вмѣсто него вновь вползаетъ вспугнутая тишина, разливаясь по всѣмъ уголкамъ этого заколдованнаго круглаго пространства, обволакивая его своей тайной и молчаніемъ... А надъ нимъ загораются опять звѣзды, такія же далекія, недоступныя и вѣчныя, какъ и тогда... тысячи лѣтъ назадъ... точно олицетворяющія собою вѣчность, эту вѣчность, которой содрагается, не постигая и не охватывая ея, умъ...

„Вѣчность!“ Вотъ слово, которое здѣсь въ Римѣ—чаще чѣмъ гдѣ-либо приходитъ въ голову и срывается съ языка...

Вызванное въ насъ всѣмъ этимъ настроеніе слетаетъ еще не скоро. Мы молча возвращаемся по пустыннымъ улицамъ. Уже поздно, около 12 часовъ ночи и Римъ спитъ; лишь изрѣдка мелькнетъ какая-нибудь маленькая, освѣщенная лавочка или тѣнь одинокаго, запоздалаго прохожаго, и опять все тихо и темно. И насъ опять удивляетъ эта полная неощущаемость „пасхальной ночи", и мысль невольно переносится на далекую и милую родину, къ тому, какъ это бываетъ тамъ...

Здѣсь она рѣшительно ни въ чемъ не чувствуется, ничѣмъ не проявляется. Молчатъ даже церкви, запертыя и темныя...

Одни фонтаны журчатъ въ тишинѣ...

Если про Римъ нельзя сказать, что онъ звенитъ весь пѣснями, какъ остальная Италія, которыхъ въ немъ совсѣмъ не слышно, зато можно сказать, что онъ весь журчитъ фонтанами; и ночью, въ тишинѣ спящаго города, это имѣетъ какую-то особенную, чарующую прелесть. Они точно сливаются въ общую гармонію съ бархатистой мягкостью воздуха, обволакивающаго и ласкающаго своей теплотой; съ этими стройными силуэтами темныхъ кипарисовъ, задумчиво вырѣзывающихся на глубокой ночной синевѣ неба, усыпаннаго мерцающими звѣздами юга...

Мы пріѣзжаемъ домой, въ нашъ космополитическій отель, полный чуждыхъ лицъ и всевозмож-

наго народа. Еще не всѣ разошлись; большинство тоже было въ Колизеѣ и теперь еще сидятъ въ общихъ гостиныхъ, допивая чай и читая вечернія газеты. Но все это такъ чуждо сердцу, такъ далеко отъ пережитыхъ впечатлѣній. Хочется тишины и покоя. Мы идемъ къ себѣ и невольно отворяемъ окно, за которымъ дышитъ тихая ночь. Оно выходитъ прямо въ садъ, весь полный

Римъ. Романскій Форумъ.

какихъ-то шороховъ, журчанья и неуловимыхъ звуковъ... Все въ немъ точно проснулось отъ дневного сна и живетъ теперь въ тишинѣ и темнотѣ своею таинственной, какъ сказка, жизнью... Хочется проникнуть въ эту сказку, разгадать ея тайны, и мы невольно вслушиваемся въ ея шорохи, похожіе на шепотъ, и вглядываемся въ ея темноту, освѣщенную лишь звѣздами, гдѣ точно рѣютъ чьи-то тѣни и мягко, едва отдѣляясь отъ запу-

тавшей ихъ зелени, бѣлѣютъ здѣсь и тамъ мраморныя статуи... А мысль сама собой летитъ къ своимъ, на милый сѣверъ, еще засыпанный снѣгами и все-же родной и милый, и теперь быть можетъ даже еще больше, чѣмъ когда мы были тамъ, у себя...

На утро, радостное, голубое утро Рима, горячее уже съ раннихъ часовъ, мы просыпаемся подъ звонъ колоколовъ со всѣхъ церквей, гудящій въ воздухѣ, какъ и у насъ въ Россіи, въ нашъ Свѣтлый праздникъ...

Старый, загорѣлый садовникъ, родомъ изъ Неаполя, съ которымъ мы уже успѣли подружиться, приноситъ намъ по букету изъ розъ, нарциссовъ и бѣлыхъ ирисовъ, свѣжихъ и прелестныхъ, какъ и само утро, и еще влажныхъ отъ его росы. За окнами громко чирикаютъ птицы, и уже распускается, точно нарочно торопясь къ празднику, милая сирень. Отъ ночной сказки и таинственности и слѣда нѣтъ. Опять все просто и ясно, но все радостно и все залито солнцемъ и свѣтомъ. За табльдотомъ всѣ столы усыпаны свѣжими, только что срѣзанными цвѣтами, и посрединѣ каждаго изъ нихъ возвышается огромное яйцо изъ бѣлыхъ и розовыхъ гіацинтовъ и левкоя. И почти всѣ одѣты въ бѣлыя нарядныя платья; у всѣхъ чему-то радующіяся лица, всѣ кажутся красивѣе, моложе и лучше, чѣмъ наканунѣ и всегда. Это праздникъ, Свѣт-

лый праздникъ вошелъ, наконецъ, въ свои права, и все точно встрепенулось, ожило и радостно распахнуло навстрѣчу ему всѣ окна и двери и даже души свои...

Наша улица „Via Babuino“, полна характерной, чисто римской прелести, узкая, длинная, застроенная высокими, некрасивыми домами, оштукатуренными, какъ петербургскіе. Но въ дворахъ ея на каждомъ свободномъ клочкѣ земли, отвоеванномъ отъ построекъ, цѣпляются лиловыя глициніи, заплетая стѣны до самаго верха своими толстыми змѣевидными стволами, усѣянными гроздями ароматныхъ цвѣтовъ. Наружные фасады ея нижнихъ этажей заняты по преимуществу магазинами и лавченками. Большинство изъ нихъ темны, малы, содержатся какими-то подозрительными стариками и растрепанными дѣвицами, не лишенными, впрочемъ, живописности. Они торгуютъ разнымъ старьемъ, но старьемъ артистическимъ и художественнымъ, увлекающимъ не столько самихъ римлянъ, равнодушныхъ къ нему и предпочитающихъ болѣе модные товары новыхъ магазиновъ, сколько иностранцевъ и особенно, кажется, англичанъ и американцевъ всегда что-то разсматривающихъ и покупающихъ тамъ.

Здѣсь вы найдете старую бронзу и слоновую кость, не всегда сохранившуюся въ цѣлости, но

тѣмъ дороже только цѣнимую, повидимому, оттого; выцвѣтшія гравюры съ сентиментальными сюжетами начала прошлаго столѣтія; обрывки стариннаго, пожелтѣвшаго кружева, надъ созданіемъ котораго терпѣливо трудились чьи-то женскія руки, истлѣвшія, быть можетъ, еще въ XVII столѣтіи, и потемнѣвшіе отъ времени портреты, оригиналы которыхъ улыбались лѣтъ 200 тому назадъ.

У насъ уже завелись здѣсь свои знакомые, привѣтливо здоровывающіеся съ нами, когда мы проходимъ мимо. Тамъ мы купили кусочекъ старой парчи, здѣсь маленькую статуетку святого или поломанную коробочку слоновой кости, дѣйствительно удивительной работы и тѣ что продали намъ ихъ, уже считаютъ насъ своими добрыми пріятелями, а, можетъ быть, и законною добычей, которую не слѣдуетъ выпускать изъ рукъ, разъ залучивъ въ нихъ, и они радостно кланяются намъ, разспрашиваютъ о нашемъ здоровьи, дѣлятся разными новостями и всегда увѣряютъ, что „только что“ получили какія-то удивительныя вещи, которыя хотятъ спеціально сберечь для насъ и изъ любви къ намъ не показываютъ никому другому.

Но на ряду съ этими маленькими, темными, пропыленными лавченками, гдѣ на цѣлыя груды всякой пыльной дряни приходится двѣ-три дѣйствительно чудныя вещи стараго времени—рас-

кинулись уже болѣе богатые и нарядные современные магазины, съ красивыми витринами и щеголеватыми продавцами. Эти предпочитаютъ новѣйшій, но, пожалуй, еще болѣе ходкій товаръ— модную скульптуру, нѣсколько декадентскаго и фантастическаго характера, окрашенную въ блѣдные, неуловимые тона; художественныя фотографіи съ знаменитыхъ картинъ, похожія на старыя гравюры, прелестныя вещицы изъ бѣлой кожи, тисненной золотомъ, и разныя objets d'art изъ серебра и прозрачной эмали, не разъ увлекавшія и наши слабыя души. Зато все, что касается дамскихъ модъ и туалетовъ, то въ Римѣ трудно на нихъ разориться и соблазниться чѣмъ-нибудь. Магазины подобнаго рода не превышаютъ, пожалуй, нашихъ харьковскихъ, и послѣ тѣхъ, что невольно поражаютъ на Ривьерѣ, кажутся жалкими и бѣдными.

Но главная прелесть нашей улицы не въ магазинахъ, хоть они и типичны, а въ двухъ знаменитыхъ церквахъ, помѣщающихся на ней.

Передъ первой изъ нихъ сбираются по утрамъ натурщики и натурщицы, изъ крестьянъ сосѣднихъ провинцій, спеціально пріѣзжающіе для этого въ Римъ.

Сюда же приходятъ и художники, подыскивающіе подходящую модель, и образуется что-то въ родѣ своеобразной биржи, живой, веселой и живописной благодаря національнымъ костюмамъ,

которые надѣваются сюда. Говорятъ, что въ обыкновенной жизни они почти уже вывелись, замѣнившись, какъ и повсюду, обычнымъ платьемъ горожанъ, нивеллировавшимъ всю Европу. И какъ это жаль, ничто, быть можетъ, не создаетъ съ такой яркостью внѣшній обликъ народа, неразрывно связанный съ его внутреннимъ образомъ— какъ его народный костюмъ, всегда разумный и эстетичный и согласующійся какъ съ типомъ, такъ и съ мѣстными условіями жизни.

Здѣсь это сохраняется больше какъ маленькій маскарадъ или вывѣска профессіи, которая въ немъ оплачивается выгоднѣе, но какъ оно поразительно подходитъ къ этой старой церкви, какія живописныя группы образуются благодаря ему на стертыхъ ступеняхъ ея лѣстницы, гдѣ незамѣтно смѣняется одно поколѣніе другимъ, и гдѣ многія изъ этихъ живыхъ моделей не только выросли, но и успѣли состариться.

И какія лица, какія удивительныя позы и фигуры, проникнутыя безсознательной, врожденной граціей и красотой, вѣками вкоренявшейся въ этотъ народъ, невольно кинутся вамъ здѣсь въ глаза.

Тутъ и молодыя дѣвушки и женщины, точно написанныя яркими, сочными красками, въ ихъ пестрыхъ юбкахъ, красныхъ кораллахъ на смуглыхъ шеяхъ, золотыхъ кольцахъ въ ушахъ и бѣлыхъ покрывалахъ на трепанныхъ волосахъ,

отъ которыхъ ихъ смуглыя лица кажутся еще темнѣе и красивѣе. Тутъ же и старики, лѣниво дремлющіе на солнцѣ или покуривающіе маленькія трубки, и порой еще больше молодежи, поражающей своей классическою красотой.

Но больше всего ребятишекъ, веселыхъ, крикливыхъ, шумливыхъ, скачащихъ вокругъ васъ съ приставаніемъ купить у нихъ цвѣты, какъ молодые козлята. Если вы не желаете ихъ чахлыхъ, запыленныхъ и затасканныхъ букетиковъ, они назойливо суютъ вамъ ихъ прямо въ руки, затыкаютъ за поясъ и не отстаютъ до тѣхъ поръ, пока не получаютъ грошевой монеты или нетерпѣливаго окрика.

Все это стѣсняется очень мало, чувствуетъ себя, какъ дома, въ этомъ завоеванномъ уголкѣ улицы, громко обмѣнивается замѣчаніями, смѣется, перекликается между собой и даже комфортабельно засыпаетъ, когда наскучитъ ждать, или разсыпается по всей улицѣ, болтая съ встрѣчными знакомыми, которыхъ у каждаго изъ нихъ если не полъ-города, то, навѣрное, половина площади и рынка.

Въ концѣ улицы находится небольшая площадь съ фонтаномъ посрединѣ: „Piazzabi Ispagna“. Отъ нея идетъ кверху въ гору, широкая, мраморная лѣстница, ведущая къ церкви женскаго монастыря „Il Trinita de Monti“. Эта церковь еще живописнѣе предыдущей, особенно по утрамъ, когда на

ея лѣстницѣ устраивается цѣлый цвѣточный рынокъ. Огромныя груды ирисовъ, фіалокъ, гвоздикъ и цвѣтущихъ миндалей свозятся сюда со всѣхъ окрестностей. Ихъ привозятъ въ ручныхъ телѣжкахъ и на маленькихъ осликахъ, такихъ забавныхъ, подъ своею душистой ношей, изъ-подъ которой, какъ изъ огромнаго букета, выглядываютъ ихъ кроткія, печальныя мордочки, всегда вызывающія почему то жалость и желаніе приласкать ихъ.

Продавщицы (типъ мѣстныхъ горожанокъ, довольно вульгарныхъ и крикливыхъ), тотчасъ же обступаютъ ихъ, быстро разбирая весь товаръ и устанавливаютъ его съ боковъ лѣстницы, начиная съ первой нижней ступеньки и до самаго ея верха.

Это выходитъ необыкновенно красиво. Кажется, что гора живыхъ цвѣтовъ—красныхъ, розовыхъ, бѣлыхъ, лиловыхъ, точно пронизанныхъ солнцемъ, въ этой странѣ солнца, поднимается отъ земли прямо къ подножію церкви, легкими контурами вырисовывающейся вверху на жгучей синевѣ неба.

Сюда же приходятъ и покупатели, въ свою очередь быстро разбирая прелестный товаръ, на всѣ голоса, съ южной крикливой жестикуляціей расхваливаемый продающими его женщинами.

Внизу на площади у фонтана съ веселымъ визгомъ плещутся дѣти и освѣжаютъ свои смуг-

лыя, разгорѣвшіяся на жарѣ лица—ихъ матери, живыя чудныя модели, соскучившіяся сидѣть у своей церкви и тоже пришедшія сюда освѣжиться и поболтать.

Тутъ же разъѣзжаютъ трамваи, кричатъ неистово газетчики, толкутся маленькіе ослики, хозяева которыхъ еще не успѣли разсчитаться и уѣхать, и все это такъ залито солнцемъ, такъ полно жизни, красокъ, движенія, что... что невольно съ болью въ сердцѣ вспоминается нашъ сѣрый, вялый, скучный Петербургъ, по полугода закутанный въ дожди, туманы и снѣга, точно все и всѣхъ окрашивающіе въ свое мертвящее уныніе... Петербургъ, въ который надо вернуться, въ которомъ надо жить, всегда, цѣлую жизнь, потому что пришлось въ немъ родиться, быть можетъ, только для того чтобы умереть на 20 лѣтъ раньше, чѣмъ это случилось бы въ другомъ мѣстѣ...

И въ душу невольно проползаетъ тоска и зависть къ этимъ счастливцамъ, родившимся здѣсь и даже не сознающимъ, какой печальной участи случайно избѣгли они...

Да, неудачная, почти преступная мысль пришла творцу его, когда онъ задумалъ построить свой новый коллосъ, свою молодую столицу на этихъ непроходимыхъ болотахъ, подъ этимъ вѣчно тусклымъ небомъ, въ этомъ гниломъ, сѣромъ воздухѣ и безжалостно обречь цѣлыя сотни

поколѣній многихъ милльоновъ неповинныхъ людей, рождаться тамъ хилыми и больными, жить унылыми и подавленными, безъ солнца, безъ свѣта и тепла, безъ красокъ, безъ цвѣтовъ и радости и умирать преждевременно съ гнетущимъ чувствомъ тоски и неудовлетворенія, уносимыми невольно отъ этой унылой сѣрой жизни, которая дала такъ мало и не могла дать почти ничего—даже солнца...

Чѣмъ дольше живешь въ Римѣ, тѣмъ болѣе оцѣниваешь его и привязываешься къ нему. Его хочется перечитывать, какъ любимую книгу; какъ тамъ, есть свои любимыя странички, которыя не наскучаетъ перечитывать, хоть давно уже знаешь ихъ, такъ и въ немъ, для каждаго, вѣрно, найдутся свои излюбленные уголки, къ которымъ всегда тянетъ, сколько бы разъ ни видѣлъ ихъ.

Въ одномъ Форумѣ сколько можно найти ихъ, прекрасныхъ даже въ разрушеніи, которое точно только еще больше подчеркиваетъ ихъ красоту.

Эти прелестныя колонны, эти арки, въ самомъ стилѣ которыхъ отпечатана навѣки вся разность характеровъ эпохъ и строителей воздвигавшихъ ихъ; этотъ храмъ весталокъ, у входа котораго еще сохранились ихъ фигуры, увѣковѣченныя въ пожелтѣвшемъ, какъ истлѣвшая кость, мраморѣ, обвитомъ плющемъ и дикими розами, быть

можетъ, потомками тѣхъ, что сажали еще сами онѣ... Эти Ростры, съ которыхъ когда-то раздавались пламенныя рѣчи, то бурныя и негодующія, то вдохновенныя и призывавшія къ подвигамъ героевъ, то судившія ихъ, то прославлявшія почти какъ боговъ.

Эти знаменитыя рѣчи, классическіе обрывки которыхъ еще звучатъ въ нашихъ ушахъ, повторяемые всѣми народами міра, невольно запечатлѣвшись въ памяти человѣчества своей поразительной красотой, силой и образностью.

Цѣлыя страницы исторіи, легендъ и образовъ поднимаются отовсюду съ этихъ разсыпающихся камней, поросшихъ цѣпкимъ плющемъ, такихъ краснорѣчивыхъ въ своемъ молчаніи, такихъ прекрасныхъ въ своемъ разрушеніи, въ каждомъ слоѣ которыхъ точно застыли вѣка, невольно воскресающіе въ памяти, едва ступаешь ногой на камни ихъ...

Троянскій форумъ гораздо меньшихъ размѣровъ и посѣщается публикою тоже гораздо меньше; почему-то всѣ ограничиваются смотрѣніемъ на него сверху, можетъ быть, дѣйствительно потому, что ни разсматривать, ни изучать особенно тамъ нечего, хотя самъ по себѣ, лежащій глубоко внизу точно въ колыбели и окруженный какъ рамкою, новымъ городомъ онъ кажется чуть ли еще не красивѣе большого и болѣе раскинувшагося. Его можно окинуть сразу однимъ

взглядомъ. Онъ еще больше заросъ весь розами и плющемъ, мѣстами совершенно завившими его поваленныя колонны, и, вѣрно, эти колонны и плющъ придаютъ ему что-то общее съ старымъ кладбищемъ... Да это и есть, въ сущности, кладбище. Кладбище вѣковъ и исторіи, погребенной подъ обломками его... Теперь единственными живыми существами, населяющими его, являются... кошки! какъ онѣ попали туда—не знаю, но расплодились зато въ огромномъ количествѣ и, повидимому, чувствуютъ себя тамъ недурно, охотясь за голубями и мышами, которыхъ тоже достаточно. Тѣмъ болѣе что какія-то сердобольныя души ежедневно приходятъ сюда кормить ихъ и бросаютъ имъ сверху разные лакомые куски, которые они принимаютъ какъ должное и, кажется, считаютъ одной изъ первыхъ обязанностей города...

Вѣроятно, поэтому люди почти и не спускаются туда и не осматриваютъ этого форума—кошки отвоевали его для себя.

Когда ходишь изо-дня-въ-день по этому „старому Риму“, знакомясь ближе съ его исчезнувшею жизнью прошлаго, невольно поражаешься несоразмѣрностью величины его общественныхъ зданій и частныхъ.

Колизей, кажущійся какимъ-то гигантскимъ кольцомъ Нибелунговъ, гдѣ звукъ голоса, данный во всю силу на одномъ концѣ его, теряется

въ другомъ, базилика Св. Константина, точно стремившаяся вмѣстить въ себя все христіанство, ихъ знаменитыя бани (увы, такъ мало похожія на наши), прекрасныя и грандіозныя, какъ лучшіе изъ дворцовъ, все это поражаетъ своими гигантскими размѣрами и разсчитано, очевидно, на многія тысячи. А домикъ вдовы Ливіи, сохранившійся такъ хорошо, что въ немъ и сейчасъ еще можно бы было жить, этотъ домъ одной изъ первыхъ матронъ города, матери императора, въ сущности, не болѣе какъ скромная квартирка въ 5 комнатъ, маленькихъ и не очень удобныхъ, гдѣ она помѣщалась со всѣми своими прислужницами, которыхъ, вѣроятно, было немного, судя по помѣщенію для нихъ или онѣ были уже очень не требовательны.

И вотъ, выхаживая и обозрѣвая все это, мы забираемся въ самые разнообразные и отдаленные уголки города, въ которыхъ подчасъ находимъ такіе удивительные и художественные кусочки обломковъ старины, какихъ и въ прославленномъ Форумѣ немного.

Въ поискахъ ихъ мы попали разъ въ одинъ изъ самыхъ древнихъ театровъ Marullo, отъ котораго въ верхнихъ ярусахъ остались уже однѣ развалины, зато ходъ его построенъ такъ прочно и изъ такихъ колоссальныхъ камней, что ихъ хватитъ и еще не на одно столѣтіе.

Этотъ древнѣйшій изъ театровъ въ одномъ

изъ самыхъ многолюдныхъ, отнюдь не аристократическомъ, а мелко торговомъ кварталѣ, гдѣ мѣста очень мало и оно страшно дорого, и практичные итальянцы въ его нижнихъ, никому уже ненужныхъ ложахъ устроили маленькія лавченки съ грошевыми съѣстными припасами, кузницы, бочарни, слесарни и т. п. мастерскія, гдѣ цѣлый день идетъ непрерывный стукъ и тяжелая работа. Тутъ же бѣгаетъ масса смуглыхъ, почти голыхъ ребятишекъ, грязныхъ кажется, еще больше, чѣмъ на другихъ улицахъ, но и еще болѣе живыхъ, веселыхъ и забавныхъ.

Всѣ эти лавченки и кузницы такъ облѣпили его, а другіе дома такъ стѣснили его со всѣхъ сторонъ, что его не сразу даже и замѣтишь снаружи, а внутри... внутри уже ничего не осталось, кромѣ полуразрушенныхъ лѣстницъ, и темныхъ коридоровъ и переходовъ, въ которыхъ ничего не видно и очень легко сломать шею, но тѣмъ не менѣе за полъ-лиры васъ охотно пускаютъ осматривать ихъ.

Внизу у входа, больше похожаго на дыру, устроена для этого даже спеціальная, маленькая касса, кассиръ которой, продавъ вамъ билеты, немедленно превращается въ гида и предлагаетъ свои услуги для сопровожденія васъ.

Онъ предупреждаетъ довольно заботливо, что безъ него все равно обойтись невозможно, потому что ступени очень стары и изломаны, и

нѣтъ ничего легче, какъ сломать себѣ на нихъ шею въ темнотѣ.

Мы, конечно, къ этому отнюдь не стремимся и предпочитаемъ застраховать себя отъ такой пріятной перспективы, уплатой контрибуціи еще одной лиры—уже въ пользу нашего тѣлохранителя.

Но въ послѣднюю минуту кто-то зоветъ его съ улицы по какому-то дѣлу, и вмѣсто себя онъ предоставляетъ намъ свою... восьмилѣтнюю дочь, увѣряя, что съ ней мы можемъ быть точно такъ же спокойны, какъ и съ нимъ самимъ.

Видя наши колебанія, онъ говоритъ: „Дитя знаетъ все это точно такъ же какъ и я самъ. Она родилась въ этомъ домѣ, гдѣ онъ служитъ кассиромъ 10 лѣтъ и съ двухъ лѣтъ уже ползаетъ по всѣмъ его лѣстницамъ, какъ по своей комнатѣ, сеньоры могутъ положиться на нея“.

Намъ немножко странно и смѣшно, что крохотная дѣвочка, которой на видъ даже и восемь лѣтъ дать трудно, будетъ нашимъ чичероне, но она смотритъ на насъ съ такой увѣренностью и достоинствомъ, такъ снисходительно ободряетъ насъ, повторяя за отцомъ: „не бойтесь, сеньоры—положитесь на меня“, что это маленькое приключеніе начинаетъ насъ даже забавлять.

Она дѣлаетъ внушительный жестъ, приглашая слѣдовать за ней, и мы съ невольными улыбками направляемся за нашимъ крохотнымъ гидомъ.

Съ первыхъ же шаговъ она проникается вполнѣ своей ролью и въ наиболѣе темныхъ и опасныхъ, по ея мнѣнію, мѣстахъ, заботливо предупреждаетъ насъ и даже поддерживаетъ, протягивая намъ поочередно свою маленькую рученку, чтобы удобнѣе было спускаться и подниматься по темнымъ переходамъ.

— Осторожно, осторожно, — говоритъ она покровительственно,—здѣсь отломанъ цѣлый кусокъ ступени. Не споткнитесь, сеньоры, о, за меня не безпокойтесь, эти лѣстницы меня хорошо уже знаютъ, и никогда не дѣлаютъ мнѣ зла. Но чужихъ онѣ не любятъ...

Наконецъ, мы выбираемся куда-то, гдѣ надо остановиться и „смотрѣть", хотя это почти такъ же трудно, какъ и въ темныхъ коридорахъ: предъ нами что-то въ родѣ огромнаго, круглаго колодца, лежащаго гдѣ-то въ глубинѣ, гдѣ воздухъ напоминаетъ запахъ погреба, не провѣтривавшагося вѣками, и откуда, снизу, тянетъ затхлой сыростью и холодомъ, несмотря на то, что на улицѣ мы только что изнывали отъ жары.

Наша дѣвочка окончательно входитъ въ роль и тономъ настоящаго гида, заученно, въ тысячный разъ повторяющаго все одно и то же одними и тѣми же словами, повѣствуетъ намъ исторію древняго театра, не запинаясь даже въ хронологіи.

Мы тоже дѣлаемъ видъ, что серьезно внимаемъ ей.

— Вотъ здѣсь,—говоритъ она съ важностью, простирая куда-то въ пустоту свою ручку,—давались главныя представленія... Въ началѣ это было обыкновенное ристалище, гдѣ происходили разныя игры, но въ моментъ гоненія христіанства здѣсь такъ же, какъ и въ большомъ Колизеѣ, христіане отдавались на растерзаніе львамъ и тиграмъ... Это было очень больно,—прибавляетъ она совсѣмъ по-дѣтски и вдругъ заинтересовывается моей цѣпочкой, беретъ ее въ руки и съ любопытствомъ истой женщины разсматриваетъ ее, опутывая ею свои ручки, какъ браслетами.

Повѣствованіе забыто, и весь интересъ отвлеченъ на невиданную игрушку.

— Это изъ золота?—спрашиваетъ маленькая матеріалистка.

Я подтверждаю и почти съ такимъ же любопытствомъ, какъ она мою цѣпочку, разсматриваю ее самоё,—этого страннаго ребенка, котораго могъ создать только Римъ, гдѣ каждый уличный мальчуганъ точно родится уже съ врожденнымъ знаніемъ исторіи своего родного, великаго города и съ страстной любовью къ ней, которую онъ, какъ изъ книги, вычитываетъ изъ всѣхъ этихъ обломковъ уцѣлѣвшей старины.

Всѣ эти маленькіе, полуголые шалопаи, растущіе среди развалинъ дивныхъ храмовъ, дворцовъ, колоннъ и статуй, уже задумываются надъ

ними, уже гордятся ими и съ чувствомъ невольнаго превосходства смотрятъ на тысячи иностранцевъ, со всѣхъ сторонъ міра съѣзжающихся любоваться ихъ диковинами.

И опять по какой-то странной аналогіи вспоминается собственная родина съ ея печальною исторіей, гдѣ цѣлые вѣка сливаются въ одну тяжелую и мрачную страницу кровопролитныхъ междоусобицъ, смутъ и гнета, почти не оставляющихъ за собой ни великихъ именъ, ни прекрасныхъ памятниковъ искусства и старины, ни счастливыхъ періодовъ, ни даже причудливыхъ легендъ, въ которыхъ изощрялась фантазія другихъ народовъ, вѣроятно, больше насъ умѣвшихъ любить свою страну, свою исторію и стремившихся запечатлѣвать ее въ пѣсняхъ, сказкахъ и легендахъ...

У насъ же все печально, сѣро, однообразно даже въ самомъ разнообразіи своей жестокости, гнета и насилія... Что же удивительнаго послѣ этого, что въ Россіи никто особенно не интересуется своей исторіей, такъ немногіе могутъ любить ее, почти никто не знаетъ хорошо, и всѣ точно стремятся лучше не думать объ ней и не вспоминать ея...

А моя дѣвочка, словно угадывая мои мысли, спрашиваетъ, все еще разсматривая мою цѣпочку:

— Это изъ Россіи? да? вы тамъ купили ее? Тамъ очень холодно, въ вашей Россіи, да? туда

надо ѣхать долго, долго, долго, безъ конца? больше недѣли, годъ? правда? И тамъ всегда ледъ и снѣгъ? Прошлое Рождество у насъ тоже шелъ снѣгъ, такой хорошенькій, бѣлый, холодный, какъ мороженое. Мы ловили и ѣли его будто мороженое... вы любите мороженое? о, это такъ вкусно и сладко! только у насъ не было сахара, это очень дорого, сахаръ! но ничего, можно вообразить, что онъ положенъ туда, и тогда, кажется, почти совсѣмъ сладко.

Мы смѣемся ея наивнымъ философствованіямъ, изъ которыхъ она уже умѣетъ черпать иллюзіи, скрашивающія дѣйствительность, и гдѣ южное, пылкое воображеніе уже тѣсно переплетается съ практичностью современнаго итальянца, старающагося изъ всего извлекать свои выгоды.

Потомъ она ведетъ насъ въ какую-то крохотную каморку, больше похожую на каменную клѣтку, чѣмъ на комнату, едва освѣщаемую маленькимъ окномъ сверху подъ желѣзною рѣшеткою.

— Вотъ тутъ,—говоритъ она тономъ опять чичероне, — сидѣла прекрасная и добродѣтельная Беатрича. Ее засадилъ сюда родной отецъ, онъ хотѣлъ лишить ее чести, но она была добродѣтельна и предпочла умереть. И ее казнили.

— Какъ это печально! Бѣдная Беатрича!—говоримъ мы, не зная, насколько это дитя понимаетъ собственныя слова. Можетъ быть, отлично

понимаетъ, а, можетъ быть, и совсѣмъ не понимаетъ.

— Да,—говоритъ она,—очень печально, но такъ всегда бываетъ на этомъ свѣтѣ! — неожиданно заключаетъ она и еще неожиданнѣе вскидываетъ себѣ на голову свои юбчонки и вприпрыжку, на одной ногѣ, направляется къ выходу, объявляя, что „теперь все, больше смотрѣть нечего".

Мы не находимъ, чтобы и вообще тутъ было что смотрѣть, кромѣ развѣ нашей курьезной дѣвочки,—этого типичнаго ребенка мостовыхъ Рима, и нисколько не жалѣемъ тѣхъ трехъ лиръ, которыя заплатили за удовольствіе узнать ее.

Но, несмотря на ея восьмилѣтній возрастъ, удовлетворить ее не такъ-то легко, и ея аппетиты значительно превышаютъ ея размѣры.

Она видитъ, что нравится намъ, забавляя своими выходками и не скупится на нихъ, но потомъ съ удивительнымъ мастерствомъ умѣетъ заставить заплатить ей за каждую изъ нихъ.

Она такъ мило говоритъ „gracia сеньоры", когда даемъ ей отдѣльно серебряную лиру, и такъ умильно разсказываетъ намъ, что ей давно хочется купить пунцовую, шелковую ленту для волосъ, какъ у рыжей Сибиллы, а также тѣхъ удивительныхъ засахаренныхъ фруктъ, что продаются въ лавкѣ стараго Бомбито, которыхъ ей такъ давно хочется попробовать, что наши сердца размягчаются, и мы даемъ ей еще по лирѣ. Ея

глазенки алчно вспыхиваютъ, а маленькая рука жадно зажимаетъ ихъ; она радостно благодаритъ насъ, но говоритъ съ лицемѣрною кротостью, что онѣ слишкомъ велики для нея, лучше она отдастъ ихъ своей матери, которая больна и не можетъ ходить, а для нея добрыя сеньоры дадутъ отдѣльно еще по маленькой монеткѣ только на засахаренные фрукты,—ленту, такъ и быть, она себѣ уже не купитъ...

И маленькая плутовка въ нѣсколько минутъ очищаетъ у насъ всю нашу мелочь, хотя мы прекрасно сознаемъ, что она все выдумываетъ, просто мороча насъ и въ душѣ, вѣроятно, смѣясь нашей глупой щедрости, „на которую только и способны эти глупые русскіе медвѣди, у которыхъ всегда столько денегъ“.

Наконецъ, мы теряемъ терпѣніе и объявляемъ, что больше ничего не дадимъ.

Ея маленькая, смуглая рученка и то едва удерживаетъ награбленное съ насъ сокровище, тѣмъ не менѣе мы разстаемся совсѣмъ друзьями; она заботливо усаживаетъ насъ сама въ нашу колясочку, поправляетъ наши платья, говоритъ, что мы очень понравились ей (еще бы, я думаю, послѣ столькихъ лиръ), упрашиваетъ непремѣнно пріѣхать опять, спрашиваетъ даже нашъ адресъ, слагая, вѣрно, въ головѣ уже новый походъ на насъ, и на прощанье снова вспоминаетъ свое увлеченіе моей цѣпочкой и говоритъ мнѣ, уже

почти серьезно вѣря въ осуществленіе этого: „не пришлю ли я ей такую же, или немножко попроще, похуже, изъ Россіи. Вѣдь, она такъ хорошо намъ все показывала, а память о добрыхъ, знатныхъ, русскихъ сеньорахъ была бы ей такъ пріятна!“

Мы, смѣясь, обѣщаемъ ей это и, наконецъ, разстаемся, прося кучера ѣхать. Онъ тоже заинтересованъ происходящей сценой и, обернувшись съ козелъ, сочувственно и добродушно ухмыляясь, посматриваетъ на свою маленькую землячку.

Потомъ онъ хлопаетъ бичомъ, и мы трогаемся, кивая ей на прощанье, а она еще довольно долго бѣжитъ за нашимъ экипажемъ, опять вприскочку, и что-то кричитъ намъ, не то благодарности и пожеланія, не то новыя какія-то просьбы, чего мы за уличнымъ грохотомъ уже не можемъ разобрать.

Но скоро за крутымъ поворотомъ отъ насъ скрывается и она, и весь этотъ типичный римскій уголокъ. Нѣкоторое время мы ѣдемъ молча, но вдругъ нашъ возница, тоже задумавшійся о чемъ-то, поворачиваетъ къ намъ свою толстощекую, красную, изсине-бритую физіономію и говоритъ, одобрительно прищелкивая языкомъ:

— Славная хозяйка выйдетъ изъ малютки!—И чрезъ минуту, очевидно, уже размечтавшись, прибавляетъ:—мой мальчишка какъ разъ былъ бы ей подъ пару, только мы живемъ немножко да-

леко отсюда— въ другомъ кварталѣ... но кто знаетъ, что можетъ быть!

Поразительно быстро зарождаются мечты въ этихъ горячихъ, южныхъ головахъ, но всегда самыя практическія.

Однако, нѣтъ ничего, что бы не кончалось. Приходили къ концу и наши „римскіе дни"—мы жили тамъ уже третью недѣлю, и надо было двигаться дальше, на сѣверъ, чтобы постепенно, не сразу вернуться на свою холодную родину.

Для больныхъ, впрочемъ, я не посовѣтовала бы долгое проживаніе въ Римѣ. Во всякомъ случаѣ, онъ никакъ уже не подходитъ къ климатической станціи, гдѣ безопасно можно было бы перезимовывать холодное время. Хоть въ декабрѣ въ немъ еще и цвѣтутъ, иногда, послѣднія розы, а въ мартѣ уже расцвѣтаетъ опять сирень, но нигдѣ, кажется, нѣтъ такихъ рѣзкихъ переходовъ, какъ въ немъ. И переходы эти не въ климатѣ, не въ погодѣ, а въ самомъ городѣ, гдѣ постоянно вы попадаете изъ одной улицы, накаленной солнцемъ, гдѣ только что задыхались отъ жары, въ другую, сейчасъ же рядомъ, но подъ другимъ поворотомъ, куда солнце никогда точно не попадаетъ и гдѣ поэтому васъ разомъ пронизываетъ сырой холодъ погреба. Избѣгнуть этого почти невозможно, и изъ трехъ недѣль, проведенныхъ въ Римѣ, я больше половины времени провела совершенно простуженной лихорадкой,

насморкомъ и грипомъ, совсѣмъ какъ весной въ Петербургѣ.

И вотъ, мы въ послѣдній разъ отправились „въ священный обходъ“ проститься со всѣми нашими излюбленными мѣстечками. Долго бродили опять по Романскому Форуму, зашли въ Колизей, въ гигантскіе просвѣты оконъ котораго попрежнему глядѣлось синее небо юга. Потомъ отправились въ часъ обычнаго катанья на Монте-Пинчіо, и прелестную виллу Боргезе, окруженную своими Беклиновскими рощами и изумрудными полянами, сплошь усѣянными, какъ звѣздами, цвѣтами маргаритокъ, этимъ символическимъ цвѣткомъ Италіи, съ тѣхъ поръ какъ его избрала своимъ любимцемъ ихъ королева Маргарита. Въ ея рощахъ съ развѣсистыми буками и прозрачными еще тополями была все такая же тишина и почти безлюдье, какъ и всегда, но зато, какъ и всегда, масса народа толклась и каталась на Монте-Пинчіо у ея знаменитой площадки, къ которой публика привлекается не столько, кажется, красотой вида на разстилающійся внизу Римъ, къ которому большинство стоитъ спинами, небрежно облокотившись на перила и разсматривая катающихся, сколько военнымъ оркестромъ, ежедневно играющимъ тамъ въ это время, подлѣ котораго всегда почему-то толпится масса народа, не столько слушающая, сколько пожирающая его восхищенными взорами. Переполненъ всегда также и единствен-

ный, довольно плохенькій ресторанъ, гдѣ, подражая Парижу, свѣтскіе римляне завели обычай, въ четыре часа дня, истреблять мороженое и пирожки, которымъ, впрочемъ, такъ же далеко до парижскихъ какъ и нашимъ московскимъ.

Тутъ же бѣгаютъ дѣти, уже не полуголыя дѣти улицы, а нарядные, маленькіе мужчины и женщины буржуазіи и аристократіи, уже съ пятилѣтняго возраста стремящіеся подражать „большимъ". Они приходятъ сюда съ своими куклами и няньками или вѣрнѣе приводятся этими послѣдними, магически привлекаемыми сюда блестящими мундирами военныхъ музыкантовъ, которые, кажется, больше всего для нихъ-то и стараются разыгрывать чувствительныя аріи изъ „Марты" и „Травіаты". Очевидно, что няньки вездѣ одинаковы и повсюду предпочитаютъ природѣ военные мундиры и пыльныя площадки—зеленымъ лужайкамъ пустыхъ рощъ.

Но самый большій эффектъ и типичность этой толпѣ придаютъ разгуливающіе здѣсь же семинаристы всевозможныхъ странъ, проходящіе здѣсь свое образованіе и различающіеся въ своихъ національностяхъ только по различнымъ цвѣтамъ длинныхъ кафтановъ, похожихъ на наши пѣвческіе. Самые эффектные, конечно, красные—напоминающіе театральныхъ Мефистофелей съ лицами католическихъ ксендзовъ, въ широкополыхъ, черныхъ шляпахъ. Этихъ семинаристовъ такъ

много, что они бросаются въ глаза въ общей картинѣ пейзажа. Ихъ можно видѣть и группами, при чемъ тогда одинъ, очевидно, что-то читаетъ вслухъ, какъ бы поучая, а другіе внимательно слушаютъ его, и гуляющими попарно, съ книгами въ рукахъ, и, наконецъ, въ одиночку сосредоточенно углубившимися въ эту книжку въ какомъ нибудь болѣе укромномъ уголкѣ. Сначала мы не могли понять, что они тутъ дѣлаютъ и почему приходятъ сюда, въ это мѣсто общественныхъ гуляній, съ книгами въ рукахъ. Оказалось, что здѣсь они готовятся обыкновенно... къ экзаменамъ, пора которыхъ совпала какъ разъ съ нашимъ пребываніемъ въ Римѣ. Надо быть положительно римляниномъ, чтобы умѣть готовиться къ экзаменамъ на гуляньѣ...

Я упомянула здѣсь о маленькомъ ресторанѣ на Монте-Пинчіо, и мнѣ хочется разсказать заодно уже и о другомъ, гдѣ намъ пришлось побывать съ нашими знакомыми русскими художниками братьями С., живущими въ Римѣ. Мы отправились съ ними какъ-то въ небольшую экскурсію за городъ, спеціально чтобы позавтракать въ этомъ маленькомъ деревенскомъ ресторанчикѣ, очень популярномъ, по ихъ словамъ, у римлянъ средняго круга, куда они охотно пріѣзжаютъ по трамваю поѣсть макаронъ и выпить мѣстнаго вина.

Это былъ простой крестьянскій домъ, гдѣ со-

держателемъ былъ самъ хозяинъ съ женой и братомъ, изъ полуфермеровъ, полукрестьянъ, еще не отвыкнувшихъ работать въ полѣ и ходившихъ въ простомъ крестьянскомъ платьѣ. Къ небольшому дому примыкаетъ маленькій садъ съ чѣмъ-то въ родѣ бесѣдокъ, въ которыхъ стояли простые столы и стулья, изображавшіе „ресторанъ". Тутъ же бродили куры, блеяли гдѣ-то по сосѣдству овцы, пахло хлѣвомъ и навозомъ, и открывался широкій чуть-чуть волнистый видъ на поля и виноградники. Мы попали какъ разъ въ воскресенье и народу было особенно много. Сюда, очевидно, пріѣзжали цѣлыми семьями и располагались чуть не на весь день. Хозяева, всѣ трое съ двумя еще мальчуганами на подмогу, служили своимъ гостямъ сами и, правду сказать, не слишкомъ торопились. Тутъ не спѣшили и не стѣснялись, каждый дѣлалъ, что хотѣлъ, и держалъ себя какъ дома, даже когда это требовалось для дѣтей, съ которыми всѣ почти забирались сюда, зато выборъ кушаньевъ и лакомствъ былъ неразнообразенъ. Всѣ ѣли одно и то же— жареную курицу или баранину въ соусѣ и макароны, а на десертъ сыръ, салатъ и апельсины, и пили мѣстное кисловатое вино. Но воздухъ былъ такъ свѣжъ и хорошъ, что все казалось вкусно, и на отсутствіе апетита не жаловались. Хозяева тутъ же вступали въ бесѣду съ своими гостями, разспрашивали сочувственно о дѣлахъ

и здоровьи родныхъ и знакомыхъ и требовали чуть ни біографій отъ новыхъ, которыхъ еще не видѣли. По крайней мѣрѣ, нами они такъ заинтересовались, что подробно разспросили даже о нашихъ родственникахъ, оставленныхъ въ Россіи, и тутъ же надавали массу разныхъ совѣтовъ и указаній по части Рима и даже не поставили этого въ счетъ, когда подали его потомъ, счетъ, по скромности, конечно, соотвѣтствовавшій вполнѣ всей обстановкѣ. Пока мы тамъ сидѣли, пришелъ старикъ-шарманщикъ съ обезьяной, сыгралъ на своей разбитой, вѣроятно, такой же пожилой, какъ и онъ самъ, шарманкѣ все тѣ же излюбленныя аріи „Марты“ и „Травіаты“, заставилъ продѣлать своего звѣрька, одѣтаго въ красную пелерину и черную гарибальдійку, нѣсколько незамысловатыхъ штукъ и, снявъ шляпу, отправился обходить столы; ему давали довольно охотно, а на нашемъ столѣ, судя по его благодарностямъ и поклонамъ, вѣроятно, даже и не мало, соображаясь съ итальянскою мѣрой вообще, и, набравъ, по его мнѣнію, вѣрно, достаточно, онъ не ушелъ со своей шарманкой, а, поставивъ ее въ сторонку, сѣлъ тутъ же за одинъ изъ маленькихъ, освободившихся столиковъ и потребовалъ себѣ ту же курицу и тѣ же макароны съ сыромъ и салатомъ. Это никого не удивило, и никто не обратилъ на это особеннаго вниманія, считая вполнѣ естественнымъ, а наши хозяева служили

ему точно такъ же, какъ и всѣмъ другимъ, и, покончивъ съ своимъ завтракомъ, онъ заплатилъ за него столько же, какъ и другіе, и далъ прислуживавшему ему мальчугану ту же мѣдную монету на чай, какую давали и другіе.

Кажется, только мы одни были этимъ заинтересованы и видѣли въ этомъ что-то новое и такое необычное и невозможное у себя.

Этотъ маленькій деревенскій ресторанчикъ, гдѣ хозяева чувствовали себя равными съ гостями, а между послѣдними тоже не видѣли никакой разницы, къ какому бы классу они ни принадлежали, былъ положительно самый милый и пріятный изъ всѣхъ, въ которыхъ намъ случалось бывать за наше долгое путешествіе, и послѣ него парадный табльд'отъ въ нашемъ роскошномъ отелѣ казался еще претенціознѣе и утомительнѣе уже одной своей накрахмаленной парадностью.

Ресторанная жизнь вообще, впрочемъ, не развита, кажется, въ Римѣ, насколько мы могли судить, по крайней мѣрѣ, не бросается въ глаза такъ, какъ въ Парижѣ.

Потому что нельзя, будучи въ Парижѣ, не замѣтить этихъ ресторановъ, даже если и не входить въ нихъ самимъ, или, въ Вѣнѣ, ея знаменитыхъ кофеенъ, попадающихся на каждомъ шагу, или въ Мюнхенѣ—его пивныхъ, въ которыхъ съ утра до ночи просиживаютъ за газетами,

разговорами и кружками пива всѣ, кажется, мюнхенцы. Но ничего подобнаго вы не видите и не замѣчаете въ Римѣ.

Есть одно, два кафе, гдѣ охотно собираются иностранцы и художники, облюбовавшіе для себя особенно одно изъ нихъ, но это и все, кажется, по этой части.

Къ послѣдней мы пошли проститься съ нашей любимой площадкой въ саду отеля, съ которой разстилался видъ на Римъ.

Мы пришли къ ней въ часъ заката, когда вѣчный городъ вырисовался на потухающемъ небѣ, весь точно подернутый золотисто-розовымъ отсвѣтомъ. Прекрасные купола и башни его церквей и дворцовъ рѣзко чернѣли своими грандіозными очертаніями на золотистомъ фонѣ воздуха; милльоны крышъ волнистою линіей раскидывались во всѣ стороны, а позади ихъ, уходя въ даль, разстилались его священные холмы, широкимъ кольцомъ опоясывающіе городъ, и характерныя римскія пиніи (сосны) то тутъ, то тамъ темными силуэтами чернѣли на нихъ...

Долго стояли мы, облокотившись на мраморную баллюстраду, бросая прощальный взглядъ на великій городъ,—этотъ послѣдній сколокъ древняго міра, бережно хранимый современнымъ человѣчествомъ. Сколько вѣковъ разстилалось предъ нами, вставая изъ очертаній его развалинъ, храмовъ и церквей! Какая смѣна эпохъ, идеаловъ и

міровоззрѣній, воздвигавшихъ ихъ и создававшихъ исторію его, эту міровую исторію, принадлежавшую не только народу, прошедшему ее, но какъ бы и всему человѣчеству, черпавшему изъ нея свои завѣты и учившагося по ней...

И вмѣстѣ съ нами, казалось, задумчиво глядѣли туда же мраморные образы ея былыхъ героевъ и творцовъ, украшавшіе теперь баллюстраду. Казалось, отблескъ мысли запечатлѣлся въ ихъ изваяніяхъ, и они думали и грезили о чемъ-то, смотря на Римъ, принадлежавшій имъ когда-то...

А кругомъ безмятежно благоухали лиловыя глициніи, и все такъ же, какъ и во всѣ дни, во всѣ вѣка заходило вѣчное солнце—этотъ символъ великаго города лившаго лучи свои на духовный міръ человѣчества...

Прощай, Римъ! Прощай, городъ великаго прошлаго, запечатлѣннаго тобой! Ты одинъ сумѣлъ приблизиться къ тайнѣ вѣчности, олицетворивъ ее въ священныхъ развалинахъ своихъ и, быть можетъ, единственной доступной пониманію людей! Насъ, жалкихъ людей, обреченныхъ на вѣчныя потемки, не знающихъ ни кто, ни что они, ни откуда пришли, ни куда уйдутъ и тщетно старающихся проникнуть въ роковую разгадку и именно здѣсь блуждая по вѣковымъ развалинамъ твоимъ, освѣтить, хоть немного, темноту страшной тайны тѣмъ свѣтомъ, что давалъ міру ты...

Вечеромъ того же дня мы уѣхали изъ Рима, и, Богъ вѣсть, увижу ли я его еще когда-нибудь, хотя и бросила, вѣрная преданію и обычаю путешественниковъ, маленькую серебряную монету въ его фонтанъ di Trevi, въ который бросаютъ ее нарочно тѣ, кто хочетъ вернуться въ него...

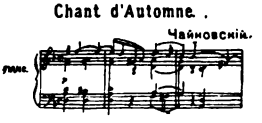
ТѢНИ.

ОСЕННІЯ НАСТРОЕНІЯ.

Посвящается „Маріокамъ“.

ТѢНИ.

Осеннія настроенія.



Вечеръ наползалъ сѣрый и душный, и все словно застывало въ немъ... Море, и небо, и воздухъ,—все было сѣрое, тяжелое, притаившееся и точно ожидавшее чего-то печальнаго и страшнаго... Ели и сосны стали совсѣмъ черными, насупившимися; аллеи прятались въ сумракъ, и въ нихъ казалось жутко и таинственно, а надъ всѣмъ этимъ неподвижно висѣла луна, розовая, круглая и матовая, какъ бумажный шаръ, тускло освѣщенный изнутри; висѣла безъ блеска, безъ сіянія, не бросая лучей и даже не отражаясь въ морѣ... Точно все это было не наяву, а видѣлось сквозь сонъ, и не хотѣлось ни думать, ни говорить, ни двигаться... Хотѣлось застыть такъ же неподвижно, какъ это море, этотъ воздухъ, эти сосны...

Давно пора было итти въ домъ; оттуда уже звали насъ, и тамъ зажглись огни... Но всѣхъ обволокла лѣнь, и надо было такъ много усилія,

чтобы выйти изъ нея, встать и куда-то итти... и никому не хотѣлось... Такъ просидѣли часъ... можетъ быть, два, и сумерки совсѣмъ закутали садъ и спустились внизъ по обрыву, казавшемуся теперь глубокимъ и страшнымъ, полнымъ какихъ-то шороховъ и тайнъ... Точно тамъ ожила и зашевелилась полуночная жизнь сказочныхъ существъ, разныхъ гномовъ, лѣшихъ и дріадъ... Точно это они шуршали тамъ, притаившись въ кустахъ, и вспыхивавшіе то тутъ то тамъ огоньки свѣтляковъ казались ихъ свѣтящимися глазами, исподтишка наблюдавшими за нами... и въ свой чередъ мы чутко прислушивались къ страннымъ шорохамъ, вглядываясь въ темноту обрыва, стараясь проникнуть въ тайны его... Но спустилась ночь, и постепенно стали расходиться вяло и молча... и надъ обрывомъ остались только мы трое... Насъ ужъ не звали, и огни въ домѣ потухли...

Тогда намъ захотѣлось спуститься къ рѣкѣ и переѣхать на противоположный берегъ, чтобы взглянуть на нашъ домъ и паркъ, стоявшіе на высотѣ и видные оттуда.

Мы отвязали лодку и сѣли въ нее все такъ же молча, почти не говоря и невольно понижая голоса свои.

Рѣка таинственно и жутко темнѣла глубиной своей и что-то нашептывала берегамъ, тихо струясь мимо нихъ, прямо къ морю, ожидавшему ее,

а берега, крутые и обрывистые, наклонились къ ней и, казалось, не хотѣли пускать отъ себя, заслушавшись лепета ея...

Все было тихо кругомъ, нигдѣ не слышалось ни звука, все давно уже спало—и люди, и лѣсъ, и дорога, отъ которыхъ уплывали мы—и только подъ веслами тихо всплескивала вода, да лодка безшумно разрѣзала ее...

Мы вышли на той сторонѣ и сѣли тутъ же на берегу, на камняхъ...

Теперь, уже за рѣкой, неровною и покатою стѣною поднимался уступами старый паркъ, похожій сейчасъ на темный и густой лѣсъ, а маріокскій домъ возвышался за нимъ, со своей высокой, бѣлой башней, стремящейся къ небу, со своими острыми крышами и бѣлизной стѣнъ, освѣщенныхъ луною, точно окруженный неприступною чащей; и въ этотъ поздній часъ, въ этой заснувшей тишинѣ и безмолвіи онъ казался какимъ-то таинственнымъ и заколдованнымъ замкомъ изъ сказокъ Перро. Луна, теперь уже свѣтлая и зеленоватая въ потемнѣвшемъ небѣ, бросала на окна его тусклый, мертвенный отблескъ, точно они были освѣщены изнутри какимъ-то страннымъ и фантастическимъ свѣтомъ... И казалось, что тамъ, за чащей этого лѣса, за свѣтящимися таинственно окнами его заколдованнаго замка тоже шла теперь какая-то своя сказочная жизнь съ видѣніями и превращеніями, какъ въ

настоящихъ старыхъ сказкахъ, съ прекрасными дамами и влюбленными принцами, съ добрыми королями, злыми волшебницами и благодѣтельными феями, пировавшими сейчасъ, за освѣщенными призрачнымъ, нежизненнымъ свѣтомъ окнами его...

И такъ странно было сознавать, что вся эта фантастическая жизнь его—наша собственная, совсѣмъ простая и обыденная, которую скучно и равнодушно переживаемъ мы въ немъ день за днемъ, часъ за часомъ, а всѣ эти сказочные принцы и волшебницы—мы сами... такъ не похожіе на нихъ...

— Давайте разсказывать сказки...—сказалъ одинъ изъ насъ, точно отвѣчая на мысли другихъ; но сказокъ никто изъ насъ не умѣлъ и не хотѣлъ разсказывать.

Хотѣлось только молча сидѣть и грезить наяву...

И неподвижныя фигуры наши, сливаясь съ темнотою, неясными силуэтами темнѣли на камняхъ, точно чьи-то тѣни... и собственное существованіе казалось страннымъ и призрачнымъ, точно и дѣйствительно это были не мы, а только тѣни прошлаго, призраки насъ самихъ, уже отжившіе и исчезнувшіе изъ міра и лишь прилетѣвшіе откуда-то, изъ загадочнаго, невидимаго пространства, въ эту странную, безмолвную ночь, чтобы взглянуть на тѣ мѣста, гдѣ они когда-то

жили, волновались, страдали, были счастливы и... и такъ несчастны...

И кто знаетъ, быть можетъ, когда-нибудь все это такъ и будетъ...

А потомъ... потомъ мы вернулись домой, и все стало такимъ, какимъ было и будетъ всегда...

Стоятъ послѣдніе, теплые дни осени, съ ихъ элегическою прелестью, въ которой есть что-то задумчивое и уходящее... Умираніе уже подкрадывается къ природѣ, и, какъ бы сознавая это, все спѣшитъ доживать послѣднею, пышною, но ужъ непрочною красотою... Еще держится зелень на кустахъ и деревьяхъ, но она стала уже золотой, пурпуровой и бронзовой и ярко горитъ, пронизанная солнцемъ на синевѣ неба, еще синяго и глубокаго, но уже остывающаго и какъ бы отодвинувшагося отъ земли куда-то дальше, въ высь... Изрѣдка въ немъ раздается тревожный и жалобный крикъ, и мелькаютъ гдѣ-то высоко, высоко бѣлыя точки... это дикіе гуси и журавли улетаютъ на югъ, къ пирамидамъ...

И покуда солнце обливаетъ все лучами своими,—такъ сине кажутся еще и море и небо, такъ свѣжа и ярка еще зелень травы, и такъ щедро цвѣтутъ еще астры, и алѣетъ гроздями коралловъ созрѣвшій барбарисъ,—что не вѣришь тогда, что все это уже обречено на смерть и пе-

реживаетъ лишь прекрасную, но безпощадную агонію ея... Кажется, что это еще разгаръ лѣта, и что дней его свѣтлыхъ и жаркихъ впереди еще много и много... но... но одинъ порывъ холоднаго вѣтра, и все разомъ, темнѣя и хмурясь, принимаетъ унылый, отжившій видъ... Вдругъ наползаютъ откуда-то съ сѣвера лохматыя, сѣрыя тучи, и мрачныя тѣни ложатся на землю отъ нихъ... сварливыми гребнями вздуется море, и съ крикомъ тоскливымъ носятся чайки надъ нимъ... въ воздухѣ разомъ похолодѣетъ, и уже не паутинки, легкія и невидимыя, летаютъ въ немъ, а пожелтѣвшіе листья стаями, какъ испуганныя птицы, срываются съ вѣтвей и съ сухимъ шелестомъ, точно съ жалобой и ропотомъ, несутся по аллеямъ опустѣлаго сада...

И вѣрится уже не только въ осень, но даже и въ самую зиму, съ ея злыми вьюгами и снѣжными сугробами, которыми скоро все занесетъ здѣсь она... уже чувствуешь, какъ доносится откуда-то изъ холоднаго далека леденящее дыханіе ея, и знаешь, что это идетъ *она*, и что ничто уже не остановитъ ее, ничто не спасетъ отъ нея, что *она* уже близко, близко, несмотря на всю эту обманчивую иллюзію лѣта, съ его синѣвшимъ лишь недавно ярко небомъ и красотой нарядной зелени, еще за минуту всего такъ радостно и пышно сверкавшей на солнцѣ...

И чѣмъ-то грустнымъ и холодящимъ сожмется

вдругъ сердце... Въ эти невѣрные осенніе дни сильнѣе чувствуешь и свою осень... каждая подкрадывающаяся морщинка на лицѣ, каждый засеребрившійся вдругъ волосъ, дѣлаются вдругъ замѣтнѣе и говорятъ: „вотъ, уже и мы... насъ посылаетъ тебѣ осень... твоя собственная осень... она идетъ уже къ тебѣ, хотя ты и думаешь, въ прекрасные дни счастья, что все еще стоитъ радостное лѣто, и ярко свѣтитъ твое солнце... но она уже близко, близко, и ты не замѣтишь, какъ сразу настигнетъ тебя и все занесетъ кругомъ снѣгами и вьюгами зимы, идущей за ней... твоей зимы... и ничто уже не остановитъ ихъ и не спасетъ тебя отъ нихъ... ничто, кромѣ могилы, которую откроютъ они для тебя...“

Одиночество прекрасно уже своею свободою. Въ немъ находишь себя и принадлежишь только себѣ... но красоту его сознаешь лишь предъ лицомъ природы... Въ душныхъ, тѣсныхъ комнатахъ оно гнететъ и давитъ, сжимая стѣнами ихъ, какъ въ тюрьмѣ и тискахъ... Хочется разбить ихъ и вырваться отъ нихъ на просторъ, на волю и воздухъ, и, когда это невозможно, душу охватываетъ тоска и отчаяніе, отъ которыхъ стонъ и рыданіе рвется изъ груди...

Но какъ хорошо и грустно, грустью нѣжною, какъ сама ласка, бродить раннимъ утромъ одной

по аллеямъ осыпающаго сада или стоять высоко на горѣ, предъ просторомъ моря и лѣса. Кажется, что во всемъ мірѣ нѣтъ больше никого, только гдѣ-то далеко, далеко слышатся звуки жизни, неясные, но гармоничные, какъ все отдаленное, но они не мѣшаютъ, ничего не нарушая собой и сливаясь въ одно цѣлое со всей природой... Въ такія минуты яснѣе и глубже чувствуешь свою живую, нераздѣлимую связь съ ней... Въ ея тишинѣ и своемъ одиночествѣ, предъ сознаніемъ безконечной красоты ея, невольно прислушиваешься къ душѣ своей, какъ къ одной части ея великаго цѣлаго... и послѣ долгихъ, долгихъ лѣтъ находишь, наконецъ, то, что казалось утраченнымъ уже такъ давно. Находишь самое себя, свою живую душу, такою, какъ она есть, какою она могла бы быть, должна была бы быть, созданная властью и красотою этой природы, но какой она не бываетъ—увы!—почти никогда, растрачиваемая ежеминутно, ежечасно на мелочи жизни, пустыя и ничтожныя, ничего не дающія ей и только заглушающія всѣ лучшіе порывы ея...

И дѣлается легко и радостно, точно при встрѣчѣ съ дорогимъ существомъ, учившимъ когда-то мыслить и чувствовать, но уже почти потеряннымъ изъ вида, и, вотъ, найдя его, снова начинаешь вѣрить и въ жизнь, и въ добро, и въ людей, и въ себя и хочется совершить что-то

великое и прекрасное во имя его, чего, быть можетъ, не совершишь никогда, но одна мечта о чемъ уже очищаетъ и поднимаетъ душу, охватывая ее всю прекраснымъ и растроганнымъ восторгомъ...

И бродишь со своею тихою, хорошею радостью, отъ которой хоть на одинъ день станешь, быть можетъ, лучше, по пустыннымъ дорожкамъ парка, такого большого, что онъ похожъ скорѣй на лѣсъ, и опавшіе листья его мягко шуршатъ подъ ногами...

Кто знаетъ, быть можетъ, и они, эти желтые опавшіе листья, когда-то свѣжіе и сочные, тоже о чемъ-то мечтали, къ чему-то прислушивались въ тихія звѣздныя ночи, куда-то стремились подъ налетавшую на нихъ бурю и тосковали о чемъ-то, прикованные къ вѣтвямъ своимъ, крѣпко державшимъ ихъ, пока... пока осенній вѣтеръ не сорвалъ ихъ, изсушивъ въ послѣдней мечтѣ и стремленіи и не сбросилъ на землю засохшими, умершими, никому не нужными и ничего не достигшими... Листья и люди... люди и листья... есть что-то общее въ нашей судьбѣ...

Осень таитъ въ себѣ воспоминанія,—они свойственны духу ея, какъ мечты и надежды веснѣ... Ихъ приноситъ съ собой и вой вѣтра въ трубахъ по ночамъ, и стучащія капли дождя за

окномъ, точно что-то оплакивающія, что-то разсказывающія печальное и унылое... Они поднимаются со всѣхъ этихъ одинокихъ дорожекъ опадающаго сада, со всѣхъ его тропинокъ и скамеекъ, съ которыхъ точно встаютъ, оживая, промелькнувшіе тамъ когда-то минуты и образы...

Днемъ, пока свѣтло и свѣтитъ солнце, быть одной—почти радостно и хорошо. Но вечерами, что наступаютъ все раньше, и тянутся дольше, какъ-то жутко и уныло бродить молча, совсѣмъ одной по огромному, полутемному дому, еще недавно такому населенному, полному жизни и звуковъ и такому пустому и замолкшему теперь...

Войдешь въ одну комнату, въ другую, отворишь дверь, заглянешь,—все пусто, тихо и темно, и только шелестятъ какіе-то шорохи, таинственные и странные, точно чьи-то тихіе вздохи, чье-то робкое дыханіе въ темнотѣ, чей-то затихнувшій, при входѣ, шопотъ... Въ большія, мрачныя ночью, окна, смотритъ слѣпая темнота, и кажется, что тамъ, за этими черными впадинами, по стекламъ которыхъ тоскливо барабанитъ дождь, нѣтъ ничего, кромѣ бездонной пустоты и вѣчнаго пространства, и тѣ, что жили здѣсь еще недавно, кажутся чѣмъ-то уже несуществующимъ, загадочнымъ и призрачнымъ... Ихъ голоса и тѣни точно еще остались здѣсь, въ этихъ комнатахъ, пустыхъ и темныхъ, но стали беззвучными и

неосязаемыми... и, если бы они вошли сюда и заговорили, стало бы, кажется, жутко...

Мнѣ вспоминается вдругъ, какъ сидѣли мы мѣсяцъ назадъ на камняхъ того берега, смотря оттуда на нашъ домъ, и онъ казался намъ какимъ-то чужимъ, заколдованнымъ и таинственнымъ, а сами мы лишь тѣнями самихъ себя... и вотъ, сейчасъ опять то же впечатлѣніе чего-то оборваннаго въ своемъ существованіи и ушедшаго уже въ то темное пространство вѣчности, что притаилось за чернѣющими впадинами этихъ оконъ... Вглядываешься въ его бездонную темноту, и кажется, что все исчезло, нѣтъ больше ничего,— ни міра, ни людей, ни звѣздъ... ни даже себя... будто тоже уже не существуешь больше здѣсь, и хотѣлось бы безмолвно взмахнуть крыльями и, отдѣлившись отъ земли, безшумно, какъ призракъ, рѣять въ безконечности поглотившей жизни... И странно, что этихъ крыльевъ нѣтъ, странно чувствовать осязаемость своего тѣла, его теплоту и жизненность...

Но выходишь изъ темной, молчащей комнаты въ свѣтлую столовую, гдѣ горитъ лампа и топится каминъ, и очарованіе разомъ исчезаетъ.

Она такая простая, эта маленькая, уютная столовая, временно устроенная на осень въ небольшой угловой комнатѣ, вмѣсто той огромной, гдѣ сходились всѣ лѣтомъ.

Здѣсь пахнетъ старымъ, помѣщичьимъ домомъ,

гдѣ жили просто, безъ затѣй, безъ лишнихъ мыслей и сложныхъ чувствъ... На дворѣ лаютъ собаки, и видно, какъ расходившійся вѣтеръ бьетъ по окнамъ вѣтвями деревьевъ, точно просящихся тоже въ тепло и уютъ дома...

Входитъ Анюта, она звенитъ посудою, накрывая на столъ, спрашиваетъ какихъ-то приказаній, я отвѣчаю ей и уже не сомнѣваюсь, что существую, и... и крылья уже больше не нужны...

Потомъ я поднимаюсь къ себѣ наверхъ, въ свою спальню; тамъ еще проще и еще жизненнѣе. Мягко бѣлѣетъ открытая на ночь постель, мягко горитъ подъ бѣлымъ абажуромъ на ночномъ столикѣ маленькая лампа, мягко теплится лампада у божницы, и хочется уже не летѣть, отдѣлившись отъ земли, въ міровое пространство, а лечь скорѣй въ теплое, свѣжее бѣлье постели, уютнѣе зарыться въ ней и читать, взявъ любимую книгу, или просто думать о чемъ-нибудь простомъ и хорошемъ.

Оживаетъ вдругъ въ памяти дѣтство: мать, бабушка, тетки, маленькая сестра, отецъ, всѣ уже давно умершіе, но нѣтъ въ нихъ почему-то ничего ни таинственнаго, ни страшнаго, какъ только что было оно въ тѣхъ живыхъ, ушедшихъ не изъ жизни, а лишь изъ этого дома. А эти, дѣйствительно, ушедшія изъ нея, кажутся почему-то такими простыми, близкими и понятными, какими были и при жизни, въ томъ далекомъ дѣтствѣ,

когда все еще было понятно и просто... И если бы они вошли сюда и заговорили знакомыми и милыми голосами, то стало бы будто не страшно и не странно, а только еще уютнѣе, здѣсь, въ этой спокойной, тихой комнатѣ, безъ тайнъ и загадокъ, гдѣ только ласково топится печка, напоминающая дѣтство, и такъ мягко все освѣщаетъ собою свѣтъ маленькой лампы... и я кажусь себѣ уже не призракомъ самой себя, какъ тамъ, въ шуршащей темнотѣ, а маленькою дѣвочкой, дремавшей когда-то, въ колѣняхъ старой няньки, подъ ея наивныя сказки о Бовѣ-королевичѣ, Царь-дѣвицѣ и Иванушкѣ-дурачкѣ, что, шамкая, зѣвая и почесывая спицами чулка свою сѣдую голову въ темномъ повойникѣ, разсказывала она, бывало, въ длинные зимніе вечера, у такой же печки, съ такой же лампадой у образовъ въ углу надъ дѣтскими кроватками...

И вотъ, точно страницы перевертываемой книги, длинной грядой встаютъ прожитые года... и дѣтство, и юность, и первая молодость со всѣмъ, что дала она, со всѣми, кто былъ въ ней... съ кѣмъ переживались когда-то и счастье, и горе... кто разбудилъ первыя мечты и далъ первое страданіе... Все это, такъ давно уже ставшее „прошлымъ“... „Прошлое!“ наше прошлое давно отжитое, стершееся даже какъ бы въ самой памяти, — оно можетъ казаться совсѣмъ умершимъ въ душѣ

и уже ничего неговорящимъ ей, пока вдругъ что-нибудь, какая-нибудь мелочь не пробудитъ его почти съ прежнею силою... Это будетъ мгновеніе, минута, можетъ быть, одинъ часъ, но въ нихъ переживается снова то, что взяло когда-то цѣлые годы... Какой-нибудь листикъ стараго пожелтѣвшаго письма, написанный когда-то милою и, можетъ быть, уже тлѣющею теперь рукою; забытый выцвѣтшій портретъ, случайно найденный на днѣ какой-нибудь шкатулки, не отпиравшейся уже много лѣтъ, засохшій цвѣтокъ, данный когда-то въ минуту счастья и любви... и разомъ все воскресаетъ!.. Въ памяти точно вспыхиваетъ яркій свѣтъ и озаряетъ собой длинный рядъ прожитыхъ годовъ, уже потемнѣвшихъ и расплывшихся неясной и туманной вереницей... И вамъ, какъ бы вновь оживая, изъ нихъ поднимаются полузабытые и поблѣднѣвшіе образы тѣхъ, которыхъ нѣтъ уже больше подлѣ насъ, но съ которыми когда-то такъ тѣсно сливалась наша собственная жизнь... На смѣну имъ явились новые, чуждые раньше, самое существованіе которыхъ было намъ неизвѣстно, и они вытѣснили прежнихъ, быть можетъ, даже раньше, чѣмъ отвела отъ насъ ихъ смерть... Какая-то сила вновь воскресаетъ ихъ въ нашей душѣ, этомъ единственномъ мѣстѣ, доступномъ имъ теперь, гдѣ еще оживаютъ они порою на мигъ... Видишь ихъ такъ ясно и ярко, вплоть до знакомыхъ движеній, до складокъ

одеждъ, носимыхъ ими когда-то; слышишь снова, гдѣ-то внутри себя, ихъ голоса, уже такъ давно замолкшіе... они обступаютъ, смотрятъ прямо въ глаза и зовутъ къ прошлому... этому прошлому, принадлежавшему имъ и исчезнувшему вмѣстѣ съ ними... и воскресить которое не можетъ больше уже никакая сила, кромѣ силы воспоминанія...

Забытые сами, быть можетъ, страдающіе отъ этого забвенія, изгнавшаго ихъ, они образами своими точно стараются оживить намъ его; словно подсказываютъ и напоминаютъ былые дни, былыя радости и горе, пережитыя когда-то вмѣстѣ съ ними, и умоляютъ вернуться къ нимъ, хотя на мигъ, и не измѣнять вполнѣ для новыхъ, для другихъ, чуждыхъ и страшныхъ имъ...

„Развѣ мы меньше любили тебя! Развѣ не страдали страданіемъ твоимъ! Вспомни, какъ радовались и плакали мы вмѣстѣ съ тобой, мы, когда-то такъ любимые тобой и близкіе тебѣ!“— точно говорятъ они съ мольбою и жалобой.— „Зачѣмъ же теперь, когда насъ больше нѣтъ, ты даже мыслью не хочешь вернуться къ намъ опять! Не отгоняй насъ, думай о насъ! оживи насъ памятью твоего сердца, вызови насъ къ жизни, хоть на мигъ, изъ нашего мрака и забвенія... намъ такъ холодно въ немъ... такъ пусто и страшно... мы такъ забыты... такъ одиноки... не гони же насъ отъ себя...“

И невольно прислушиваешься къ этимъ стран-

нымъ, вдругъ ожившимъ и зазвучавшимъ въ душѣ голосамъ, и съ прежнею нѣжностью и грустью вглядываешься мысленно въ знакомыя и милыя черты, уже начавшія расплываться даже въ памяти... хочется дольше остаться съ ними, яснѣе удержать ихъ отраженные уже изъ вѣчности образы въ душѣ своей... и, подъ вліяніемъ ихъ, дѣйствительность вдругъ становится точно чуждой, и откуда-то, какъ бы со дна встревоженной души, поднимается маленькій холодокъ къ настоящему... ему почти не вѣришь, уже не принадлежишь такъ всецѣло, какъ принадлежалъ еще за часъ, весь переполненный мыслью о немъ и любовью къ нему... Оно точно отодвинулось, поколебленное и отчужденное отъ души... Это— призраки и тѣни прошлаго, вдругъ позвавшіе къ себѣ, отрываютъ насъ отъ него и заслоняютъ его собой... Но... но довольно одного простого звука жизни, и разомъ все исчезаетъ, точно испуганное и дрогнувшее, предъ этимъ могучимъ „настоящимъ“, въ которомъ нѣтъ больше мѣста *имъ*! Врывается жизнь и изгоняетъ ихъ своимъ правомъ—правомъ живого и сильнаго...

И всѣ эти образы былого, еще за минуту такіе яркіе и ожившіе, вдругъ потухаютъ, блѣднѣютъ и расплываются въ туманѣ, тая одинъ за другимъ, какъ настоящіе призраки, и исчезаютъ снова въ загадочной и мрачной темнотѣ вѣчности, въ которую ушли отъ насъ...

Ушли они... уйдемъ и мы, въ свой чередъ, и жизнь кончится, порвется въ ея великой связи съ живымъ міромъ... Для чего?.. Быть можетъ, для того, чтобы начаться снова въ иныхъ, невѣдомыхъ мірахъ, а можетъ быть... а можетъ быть, лишь для того, чтобы исчезнуть такъ же безслѣдно, какъ огонь потушенной свѣчи...

„Маріоки".
1903 г.

СОДЕРЖАНІЕ.

Къ солнцу 3

Тѣни 223

ЦѢНА 1 Р.

Stanford University Libraries
3 6105 124 450 326

PG3467
K73Z5

J. Henry Meyer Memorial Library
Stanford University

Return this book on or before date due.